Владимир
Липилин

Остров белых ворон

Вы держите в руках уникальную книгу. Это ПЕРВОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ СБОРНИКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ВЛАДИМИРА ЛИПИЛИНА. Пройдет немного лет, и найти такой экземпляр будет уже невозможно – потому что это ПОДАРОЧНОЕ издание. Но, раз Вы это читаете, то знакомить Вас с автором и его творчеством нет необходимости. Добро пожаловать на «ОСТРОВ БЕЛЫХ ВОРОН».

Книга увидела свет при поддержке и благодаря участию: Дмитрия Токарева (aka SDT), Бориса Пущина, Дмитрия Федосеева и Гелены Юсуповой.

От автора

Почему «Остров белых ворон»? Ну, просто… Дальше станет понятней. В книжке много мата, много непоправимой любви, чуши, чудаковатостей, дури и куража, сожалений и грусти – всего того, что, как правило, бок о бок ходит с невыдуманной жизнью. Причем, в большинстве случаев от автора мало что зависело. Форма зачастую выплясывала дикие танцы с содержанием. И наоборот.

Читать рекомендуется с сигареткой в туалете (это если зима). А летом, конечно, на балконе. Лучше, если в грозу и ливень.

Посвящается Машке, бабушке, маме, сестре, Алинке (Радуга), Насте. Но в большей степени любезной моему сердцу даме, имя которой всегда где-то рядом с солнцем.

иглоукалывателю,
терапевту, врачевателю
моей души простым русским
алфавитом, то бишь кирилицей)))
С пожеланием найти свой берег, ощущать
вскипы от ветра счастья и метели
чувствов.

товарищ Ли
июль 2014

Life is love

любимому городу

1

Коморка фотографов была на третьем этаже в конце коридора. В ней вечно было накурено, всегда был полусвет, и шелестели, как осенние листья от каждого шага, висящие на прищепках негативы.

В коморке беспрестанно звенели стаканы, обсуждались мировые проблемы. К ночи сквозила даже вселенская скорбь. Когда и как умудрялись эти мастера объектива делать фотографии, оставалось загадкой. Вот и в этот раз, когда я стукнул в дверь «спар-так чем-пи-он» кто-то рассказывал в дыму:

— Я ее и на редакционном столе, и на подоконнике. В кочегарке и на заднем сиденье дряхлого отцовского «Москвича». В стогах, и дымящейся туманом речке… А она не пришла.

Все ржут. И только кто-то пьяно вставляет:

— Так я тебе и говорю. Весь мир – бардак. Все бабы – б..ди. И солнце – е...ый фонарь…

— Не-е-е, ребята…Любовь – это сила, – вещает человек с кличкой Радикал. – Я вот тут недавно даже стих написал. Белый.

— Расист, блядь, нашелся.

— Да нет. Белый – это…

Это был конец 90-х. Мы были циничны и лепили правду наотмашь. Ненавидели все классическое и считали себя авангардными. Жизнь наслаивалась на нас каждодневными убийствами и сотрясанием устоев. Но нам все это казалось лишь строчками в газете, на гонорар от которых мы брали пиво «Толстяк» и шли к какому-нибудь стебанутому художнику. Он тоже считал себя авангардистом, выходил зимой на только что выпавший снег, снимал штаны и голой задницей выдавливал отпечатки. Собственно, их-то он и считал картинами.

Когда нам говорили, что нас еще не ломала жизнь, мы брезгливо цедили сквозь зубы, что кого-кого, а уж нас-то, прожженных детей перестройки…

— Да просто, – говорил мне как-то охранник редакции, бывший моряк, – бывает такая п…да, которая до Китая доведет. Все забудешь, все бросишь. Потом забудут и бросят тебя.

2

Но мы жили лихо. Один мой коллега умудрился однажды обольстить девушку, не сказав при этом ни слова. Дело было так. Трамвай. Толпа. Входит барышня. Сзади влезают еще несколько человек. Лицо моего товарища оказывается рядом с ее лицом. Девушке неловко. Она бы и рада отвернуться, но это невозможно. Долгое время они избегают взглядов друг друга. Он смотрит, как на ее шапочке тает снег. Но в какой-то миг их взгляды все-таки совпадают и тотчас же совпадают губы. Они выходят из трамвая. – Ты представляешь, – рассказывал спустя время коллега, – я не знаю, что это было, но какая-то силища тянула нас... Мы зашли под мост и снова впились друг в друга губами. Ну и так далее. Я даже имени ее не знаю. Дурдом!

У меня все было гораздо банальнее. Мимолетные встречи, такие же расставанья. А в душе, как после ядерной войны – тишина. Я уже даже привык к этому. Казалось, это и есть жизнь.

3

И вот как-то в коморке фотографов допоздна горел свет. Был октябрь. Я ездил в редакцию на велосипеде. Велосипед был старый. Руль его похож был на рога горного козла. Сиденье скрипело. Но ездил он лихо. Единственным изъяном были тормоза. Несколько раз на бешеной скорости я въезжал в бабулек, торгующих семечками. Раз снес холодильник с мороженым. Впрочем, все это лирика.

В тот вечер я ехал мимо редакции. Увидел струящуюся сквозь черные шторы полоску света, решил зайти. Затащил велосипед на 3-й этаж. Коридор был длинный. Я запрыгнул и понесся. Из лифта вышла девушка. Я даже и не пытался тормозить. Книжки разлетелись в стороны замедленно, как в фильмах Тарантино. Девушка порвала на коленке колготки. Ой, что было. Я плел паутину собственному раздолбайству, расставлял силки своей глупости, чтоб самому же туда и угодить.

Ее звали Мариной. Кривая челка, кольцо на безымянном пальце, глаза – темная ночь со слезой. Я вызвался проводить ее до дома. Она и не препятствовала. Она вообще лишена была какого бы то ни было жеманства и кокетства.

Я открыл дверь в коморку фотографов, катнул в дым велосипед и под дружные окрики «совсем о..ел» догнал ее.

Моросил дождик, тлели тускло фонари. Мы брели по мокрым кленовым листьям и говорили.

Вот ведь как бывает. Можно корчить из себя бог весть кого, гнуть пальцы веером. Но когда настигает что-то настоящее, вдруг понимаешь, что все на свете так просто. Что птицы летят, потому что летят, а не потому, что символизируют крах коммунистической системы. Что дождь идет, потому что осень, а совсем не потому, что кто-то где-то с кем-то расстается. В этот момент кажется: есть только одна правда, вековечная и незыблемая. Тебе просто хочется быть с этим человеком рядом. И все.

— Вы журналист? – спросила она.

— Ну, да.

— Это, наверное, очень интересно?

— Не более, чем быть водителем трамвая или сторожем в морге.

— Наверно, вы думаете, что я буду спрашивать, о чем вы пишете?

— Честно говоря, да. Знаете, у нас к журналистам какое-то нездоровое отношение. Сидишь где-нибудь в незнакомой компании. Ну, просто позвали. И вот кто-то с выражением, как на детском утреннике, встает и вещает: «Господа, а среди нас есть журналист, так сказать, представитель второй древнейшей. Пусть он нам что-нибудь скажет». Я один раз встал и говорю: «Быть может, среди нас есть и представитель первой древнейшей? Я бы чего-нибудь сказал, а она бы прямо здесь, за столом, кого-нибудь и обслужила».

— А вы злой.

— Бывает.

— Но вы мне нравитесь. А как вы думаете, на чем сегодня держится мир? На деньгах или на любви?

Я никак не мог понять, издевается она или говорит серьезно.

— На любви к деньгам, – говорю. – Хотя всем бы, конечно, хотелось, чтоб миром правила любовь. Чистая и светлая. Но чтоб она сама пришла, а он для этого ничего не делал. Для меня гораздо важнее другое. Но я не хочу об этом.

— Почему?

— Потому что есть вещи, о которых рассказать невозможно. Они просто живут в тебе, ты их понимаешь там, внутри себя. И тебе хорошо. А как только расскажешь, что-то исчезает. Как будто и не так уж важны они. Даже досада возникает какая-то. Вот внутри себя ты их отчетливо чувствовал, эти вещи, ценил, а как только произнес вслух, что-то ушло из них. Важное что-то.

— А вы попробуйте, – взглянула она прямо в глаза. Открыто. Без усмешки, просяще даже.

— Ладно, – говорю. – Я вот часто думаю, что русского человека вечно терзает сослагательное наклонение: «что было бы, если бы». По этому поводу даже книжку хотел написать. Что было бы, если б в нашей истории было больше любви. Будь у нас больше любви, куда б это завело страну? Если бы кто-то любил Треплева из чеховской «Чайки», быть может, он бы и не застрелился? Когда-то у меня был один родной человечек, которому я всегда звонил в определенный день. Мы были далеко друг от друга. Но каждый год в этот день, когда распускались тюльпаны, я набирал знакомый номер, и мы болтали часа по три. Звонил я, конечно, и в другие дни. Но в этот день мы говорили гораздо дольше. Наши приемники были настроены на волну нежности. В один год вышло так, что я не позвонил. То ли занят был, то ли уезжал куда. Всему можно отыскать оправданье. Некоторое время спустя она разбилась на машине. И я до сих пор думаю, что это отчасти из-за меня. Правда. Я звонил, нарушал ритм жизни, говорил о любви, и слова эти тлели где-то уголечком, потому что говорил я их искренне. Они уж точно не должны были вылететь в пустоту. И потом… этими словами я отнимал время. Позвони я ей тогда, может, она бы раздумала в то утро ехать куда-то, чтоб заработать денег. Ведь я бы говорил ей, что люблю, она бы слушала, а потом бы не успела сделать что-то очень важное. Эта поездка отодвинулась бы во времени. Хотя по большому счету все это бред. Есть ведь еще и такое слово – «судьба». Человек родился – Бог карточку завел. И вот там, в графе «итого», есть моменты и циферки, которые всегда сходятся.

Незаметно мы дошли до ее дома. Дождь едва накрапывал. Она сказала, что нужно зайти в магазин, купить что-нибудь мужу и дочке. Попросила выбрать вино. Когда входили в магазин, невзначай коснулась меня острой, как сердцевина ириса, грудью. Потом я проводил ее до подъезда.

— Давайте выпьем.

— А как же муж?

— А я потом еще куплю.

Она взяла меня за руку, провела старыми дворами, в которых раскачивал ветер качели, а на люках теплотрасс грелись бездомные псы. Мы вышли к какому-то старому, с готическим шпилем, дому. Залезли на чердак.

Не было штопора, и я долго проталкивал пробку в бутылку. Когда она делала глоток из горла, пробка резко утонула, облив ее вином. Она смеялась. Я тоже облился, стал вытирать подбородок. Она сказала

«подожди» и опять едва коснулась моих губ. Я подался вперед, но она снова приложила к губам палец: «Надо идти».

Потом я ехал домой в троллейбусе. Смотрел сквозь капли дождя на размытые огни и никак не мог понять опять. Понять, как выходит, что за каких-то три часа тебя сражают, подчиняют, укокошивают. Понять, как же устроен чертов механизм всего этого? Какую шестеренку должен был запустить человек, о существовании которого ты три часа назад не догадывался даже? Казалось, что это был трюк, в котором все выдержано до мелочей. Как в цирке. Но даже если б это было именно так, это было уже не важно.

Едва я успел повернуть ключ в двери, в квартире зазвонил телефон.

— Владимир Саныч, это Вячеслав Владимирович беспокоит, – сопел в трубку Радикал. – Давайте прямо щас нахуюжимся до полусмерти? – Это у него была манера общаться.

— Чего такая спешка? – говорю

— Да ну, блядь, сердце мое полно печали.

— Веский, конечно, довод.

— Я тут стих написал. Белый. Но никто не хочет слушать. Даже кот, сука, потерся об косяк и на кухню ушел.

— Читай мне, – говорю. – Мне нравится твой ущербный юмор.

— Ну, слушай. Кто-то жил, верил, надеялся, ждал. Грустил, веселился, ходил на футбол. Но пришла любовь и сказала: все, ребята, п….ец…

4

Я жил в одном из районов городка С. Район этот был на возвышении, и вечерами с моего балкона можно было видеть весь в огнях город. Жил я один, и поэтому служители пера заглядывали на огонек часто. Особенно ночью. И особенно с девушками. Причем все мы тогда избегали вычурности и пафоса. Никто не извинялся в телефонную трубку, не мялся. А так запросто, несмотря на то, что стрелки часов указывали три ночи, бодро говорил: «Ой, как здорово, что ты дома». (Как будто я до этого ночевал обычно под забором). – «Это даже очень хорошо, что ты дома. Потому что мы к тебе щас зайдем».

Я вовсе и не думал возражать. Однажды, правда, была с моей стороны такая попытка, но меня так и осадили. Мол, как ты можешь быть таким нечутким? Плевать на друзей. Ведь у тебя и так есть возможность быть каждый день одному (это, учитывая, что звонили они постоянно). Не будь жмотом. Дай другим вкусить этого сладостного одиночества. Со Светкой, с Иринкой или с кем-то еще. Я давал.

Ну, в самом деле, не сука же я последняя. В общем, кто только не захаживал на мой огонек. Филологи, историки, бандиты, журналисты. Журналисты хлестали яблочное вино по 9 тысяч 500 рублей бутылка и закусывали его жареной на сале картошкой. Бандиты пили водку «Абсолют» и закусывали телячьими языками. Журналисты шли после писать тексты и гулять с собаками. Бандиты ехали на «стрелки» и гуляли с бабами.

Впрочем, нередко бандиты с журналистами менялись местами. Да что говорить: и те, и другие запросто могли стать либо президентами какой-нибудь фирмы, либо покойниками. До сих пор вспоминаю, как сидели у меня на кухне с бабами некие «тверские». Дико ржали. Пили водку. Ели черную икру с ножа. А потом уехали, оставив после себя запах курева и агонии. Я вышел их проводить. Снежок порошил в фонарях. А наутро я узнал, что недалеко от моего дома их «Мерседес» с кожаными белыми сиденьями расстреляли из трех автоматов Калашникова.

Это было время ненасытной любви и стылых звезд в проеме окна. Горящих свечей и безумных губ.

Это было время, когда Леха Овчинников заходил ко мне с ящиком «Ркацители». Мы закусывали то вино жареной картошкой и твердили: «Было около пяти и светило еле, воздух голову мутил, как «Ркацители».

Это было время Доплера и Генки Озика, который написал однажды песню «Когда я подохну с тоски по тебе». Песня обошла весь Советский Союз, но никто не знал ее автора.

А еще это было время лекций и семинаров, журнала «Огонек» и газеты «Комсомольская правда». Программы «Взгляд» и диких парламентских дебатов по ТВ.

Даже Ельцина это было время.

И дерево возле корпуса филфака, где вечно курили девицы с отделения журналистики, ведь тоже было?!

В общем, круг наш был своего рода кругом питерского «Сайгона». Где можно было быть кем угодно. Вытворять, что в башку взбредет. Но главным во всем этом была фраза из Джона Леннона: «Life is love» («Жизнь есть любовь»). Причем, любовь к чему не уточнялось.

5

Спать не хотелось. Было так хорошо, как когда-то от чтения стихов Блока. Я читал несколько строк утром, и меня уносило. Хотелось остаться дома. И я оставался. Сидел целый день в квартире на третьем этаже, носил в себе то впечатление. Как этакий очень дорогой

и хрупкий сосуд. Боясь затмить это ощущение какими-то новыми чувствами и переживаниями.

Серый рассвет дышал на стекло. Я открыл на балконе окно. Курлыкая, высоко-высоко летели журавли. Я оделся, взял рюкзак и вышел.

Хорошо было ехать утром в тускло освещенном троллейбусе. Смотреть на пустые улицы, умывающихся на подоконниках котов.

В редакции тихо. Я открываю во двор окно. Залезаю на подоконник, и, свесив ноги на улицу, пью дерьмовый кофе. (Другого-то нет). В окно залетают листья.

— Эй, щелкопер, – слышу я с улицы голос. – Е….ся оттуда – костей не соберешь.

Это наш самый благодарный читатель Иваныч беспокоится. Он всех нас знает. Еще бы! Бутылки из-под пива мы сдавать никогда не ходим. Иваныч забирает все прямо из кабинетов. Разве что однажды было. Захворал этот наш благодарный читатель. Травануся клеем «Бээф». Его увезли в клинику. А у нас в Америку уехал редактор. И этих бутылок скопилось столько, что вскоре во всем кабинете осталась для прохода лишь узенькая тропинка. Но перед приездом человека, который хорошо знает, что такое плохо, но плохо знает, что такое хорошо (редактора в смысле), решили мы эти бутылки сдать и напиться. У Лехи был знакомый, который работал на замечательном автомобиле ЗИЛ-131. Леха ему позвонил. Тот примчался. Мы загрузили бутылки в кузов и поехали мыть. Подъехали к дому нашего фотографа, забили этикетками ему канализацию, снесли угол дома, и помяли некоему чиновнику «Вольво». Тот вызвал милицию. Мы стали на ЗИЛе виртуозно угонять. Где-то в переулке нас прижали. Вот удивился редактор. Вернулся - а все в тюрьме.

Я сидел на подоконнике, смотрел на город, курил.

— Сынок, кинь сигаретку, – не унимался Иваныч. – Я тебе тему сообщу.

Я бросил. Иваныч сладко закурил. Выдержал почти мхатовскую паузу и сказал:

— Напиши о том, что нет в мире справедливости. А то вы все х…ню какую-то городите, – вещал он со скамейки. – Ты Нинку Алехину знаешь?

— Откуда?

— Никого ты не знаешь, – бубнил он. – Но это и не важно. Захожу я, значит, к ней. Так, поболтать. С дальним, так сказать, прицелом. Она мне – от ворот – поворот. Ладно. В следующий раз захожу с бутылкой

«Агдама». Она сразу, милый Коля, раз – и в койку. Это выходит продажная какая-то любовь-то. Прямо не любовь, а блядство. Вот ты и опиши это, а?

— Этот факт, Иваныч, конечно, всколыхнет общественность. Как это так, трахаться за деньги? Боже упаси…

— Дурак ты, – сказал он, затоптав ботинком окурок. – Я ему серьезно о чувстве, а он …тьфу.

6

Я зашел в коморку фотографов. На столе, свернувшись как кот, спал Кунаев. Меж шелестящих, изобилующих трупами пленок, бродил Стенькин.

— Где-то тут был закрепитель, – будто не замечая меня, твердил он. – Где-то тут он, падла, был.

И вдруг как заорет:

— Ну, точно, блядь! Мы же вчера догонялись им!

Он толкнул Кунаева в бок:

— Эй, не видал моих лошадей?

— Каких еще лошадей? – чмокая губами, бормотал тот. Стал тереть узкие, как у азиата, глаза.

— О, братан, – протянул мне ладонь. – Ты уже знаешь? Мы щас с тобой едем в Кулдым.

— Куда?

— В Кулдым, куда. Деревня мертвых в переводе с мордовского. Он сел и тут же схватился за голову:

— Ой, бля, резко встал, резко встал.

— Умереть и здесь можно, – резонно заметил Стенькин.

— Чего там делать-то? – недоумевал я.

Кунаев допил из бутылки закрепитель, утер слезы и сказал:

— Ты вчера там с кем-то шашни разводил, а нас из-за тебя редактор засек.

— Интересно, я – то тут при чем?

— А кто на велике бабу сбил? Уборщица увидела, рассказала редактору. Говорит: уж совсем обнаглели. Так пьют, что по пустому коридору проехать нормально не могут. И втирала ему полчаса: а вот в наше время…Он и озверел. Пришел проведать. А мы тут сидим – красавцы. Он че-та орал, бутылки со стола прямо на пол смахивал. Глаза бешеные. А че орать на нас, дураков. Нам хоть бы х.й. Тока еще веселей – в бутылках-то проявитель был. Водку мы никогда на столе не оставляем. Я говорю ему: Николаич, че ты волнуешься. Если надо

карточки, ты же знаешь, сделаем все в лучшем виде. Он ушел и ни слова больше не сказал. Потом звонит, отошел, видать, и говорит: Завтра едете с Беловым в Кулдым. Там, говорит, мужик один живет. Охотник. Волчатник, короче. Убил он как-то зимой одну волчицу. А у них же знаешь как? Если волчицу убили. Волк всю жизнь один. И вот теперь этот волк за охотником по пятам ходит. Года три уже. Вот и в этом году ходит за ним след в след. Так что хошь - не хошь, а едем.

Я зашел в кабинет, кинул в рюкзак диктофон. Сделал несколько звонков.

Фотограф уже спал в машине. Он спал всю дорогу, пока мы не свернули с большака и «Нива» наша не стала плестись. Водитель бросил руль – машина сама ехала по жидкой тракторной колее. Ее кидало из стороны в сторону. От очередного толчка Кунаев проснулся. Глянул в окошко и сказал: – Э, Ваня, ты куда нас завез? Твоя фамилия не Сусанин, случайно?

Водитель усмехнулся.

— Ну, точно, блядь! Не туда мы куда-то заехали, – бушевал Юра. – И спросить не у кого. О! Вон всадник какой-то скачет, – указал он на ехавшего верхом мужика. – Давай его спросим.

Водитель отпустил газ. Кунаев высунул в окошко помятую с отпечатком сиденья щеку и крикнул: – Эй, уважаемый, не скажешь, куда мы едем?

Мужик натянул узду так, что она клацнула лошади по зубам, улыбнулся широко, приветливо. И ответил: – А х.й вас знает, куда вы едете.

Фотограф качнул головой и хрипло произнес: – Понял, дальше не объясняй. В общем, правильно едем, товарищи.

За березовым перелеском показались крыши изб с дымящими трубами, темные скворечники и стаи собак. Мы остановились возле проходной деревообрабатывающего завода. Стукнули в окошко, вышел сторож.

— А-а, Колька-то? Это вы зря сюда заехали. Щас вот выйдете за околицу и пиздуйте вдоль опушки. Там влево уходит дорога, а вам надо чуть-чуть еще проехать и вправо свернуть. Ферштейн?

— Я-я, – сказал Кунаев.

Через час с небольшим мы уже стучали в черную от осенних дождей деревянную дверь. Человек, открывший нам, был сутул, небрит. В избе его всюду висели шкуры волков. Гармонь на сундуке. В одной из комнат – станок, заготовки лыж.

Я бродил по деревне, спустился к Волге. Волны швыряли к перевернутой лодке листья. Далеко-далеко, на той стороне, горел огонек. Хорошо было смотреть на него и думать, что где-то там, за сотни безмолвных верст, есть любимый тобой человек. Вверху на горе густо завыл волк.

7

Утром нужно было зайти в редакцию, увидеть Леху. В кабинете было накурено. Возле открытого окна сидел литредактор, и хлебными крошками кормил с руки синиц.

— Старик, пойдем еб.ем, – сказал он, когда я вошел. – Че-то тоска какая-то.

— Не, не буду.

— Не хочешь или не можешь?

— Да какая к черту разница? – сказал я, копаясь в ящике своего письменного стола.

— Не скажи. Если не можешь – это одно. Не хочешь – совсем другое.

— Логично, – говорю.

— То есть, если не хочешь, значит, ты этим самым говоришь, что вот ты такой хороший, а я говно – да?

— Да че ты пристал. Я вообще молчу.

— Может, ты начальства боишься?

— Слушай, ну просто не-ха-чу.

— Это меняет дело.

Господин Боголюбов был человеком едким, знал кучу всяких стихов и цитат. С ним просто невозможно было спорить. Он, что называется, давил интеллектом. Те, кто знал его недолго, говорили, что он жуткий циник. Но на самом деле он был всякий. Как-то заходит в кабинет и говорит: «Тоже мне, блядь, музыкант. То по струнам, то по пальцам. То по х.ю, то по яйцам». Это он об одном гитаристе, интервью с которым я сдал ему перед этим.

— Хе-хе. Скажешь, Белов, циничный я человек, да? А ведь в глубине души, блядь – светлая личность.

В 70-х господин Боголюбов работал в многотиражке. Затем в партийной какой-то газете, был фотографом и сумел сохранить в себе невероятную ненависть к Советской власти. Иногда он вспоминал о тех временах:

— Работал я на заводе. Бывало, пошлют на заседание, где чествуют какого-нибудь товарища Писькина. А потом просят написать об этом по партийному, но с огоньком.

Затем он был театральным критиком. Делал рецензии на спектакли. Брал три бутылки «Солнцедара» запирался с еще одним критиком по фамилии Борисов в кабинете. И начиналось.

— Бу-бу-бу, – звучал бас Борисова.

— Ни х.я, – тенорил Боголюбов.

— Бу-бу-бу, – опять говорил Борисов.

— Не п..ди, – возражал соавтор.

Длилось это обычно часа полтора. Потом раздавался заключительный аккорд Боголюбова:

— А теперь, пора лобзнуть родную партию в жопу, и поставить смачную точку.

Затем он работал у нас. Иногда от чтенья безумных текстов он отрывался, закуривал и, глядя на дверь, вопрошал:

— Ну, где же она, где?

— Кто? – недоумевали мы.

Он молчал, курил. И снова:

— Вы же все знаете. Тогда скажите, блядь, где?

— Да кто? – уже злились мы.

— Эта безумная, всепоглощающая женская любовь ко мне.

Осенью всегда было здорово возвращаться из командировки домой. Смотреть на костры из листьев, которые жгли дворники. Дышать этими запахами. Хотя в этот раз больше всего хотелось позвонить ей. Просто услышать голос. Я, не снимая ботинок, прошел к телефону и набрал номер.

— Марину можно услышать?

— Это – я. Я думала о тебе.

И тепло разлилось по сердцу. Как будто целый день ты был на морозе под тридцать. Работал. А потом, когда солнце стало садиться в заснеженные поля, ты вошел в дом и махнул граненый стакан водки.

— Хотелось бы увидеться, – сказал я.

— Мне тоже. Но сегодня никак не получится. Я сейчас уезжаю с отчетом в министерство. Потом обещал заехать муж, сводить в кино. Давай я завтра сама тебе позвоню.

Я повесил трубку. Как скотски устроен человек. Когда у него нет ничего, он говорит: ах, вот бы мне хотя бы чуть-чуть. И я был бы счастлив. Но затем, когда у него появляется это «чуть-чуть», ему хочется все больше и больше. И, в конце концов – надоедает. И он говорит: а если б мне другую, с ней бы точно любовь была вечной. Но все и всегда повторяется, повторяется.

Я сидел, уставившись на телефон. И вдруг он зазвонил. Звонил он долго, пронзительно. Но я не стал снимать черную трубку. Я знал, что это была не она. А никто другой мне сейчас не был нужен.

8

Телефонный аппарат у меня был мощный, революционный. Фотограф стащил его с какой-то железнодорожной станции. И всем рассказывал, что в эту трубку говорил еще Максим Горький. Я люблю всякие такие штуки. Велосипеды, абажуры. Видать, где-то в глубине души моей живет такой тщедушный мещанин. Вот Кунаев и притащил однажды этот телефон. Ночью. Сказал торжественно:

— Бутылка водки – и он твой!

— В дому, говорю, не держим.

— Тогда гони монету, – не унимался он.

Денег было пять тысяч (теми, что были до 1998 года). Три я отдал ему. Сдачи он, конечно, не принес. Вот и вышло, что за эту рухлядь, я заплатил действительно, как за антиквариат. Зато когда этот телефон звонил, слышали его даже на улице, возле остановки.

И еще было связано с ним много различных историй. Как-то ко мне заехал дядька. Он всегда заезжал, когда напивался. Усердно пытаясь корчить из себя трезвого, звонил жене. Пока шли гудки, он разминал нелепыми движеньями, будто рыба, которой не хватает воздуха, губы.

— Слушай, – объяснял он ей. – Я тут лампочки Вовану завез. Не знаю, зачем ему столько лампочек. Говорит, свету мало в мире, – острил он. – И вот, короче, выпили мы с ним по пятьдесят грамм, и че-то меня так разморило. Прям, не знаю. Щас чаю покрепче попью, – заливал он, поглаживая торчащее из внутреннего кармана горлышко бутылки, – и я на трамвай.

Он знал, что в этом случае жена скажет: оставайся там. А ему того и надо.

Тихонечко отхлебывая из бутылочки, он совершал еще несколько звонков. Через полчаса разговоров дядька уже совершенно не вязал лыка. Сидел на полу с телефоном, бубнил:

— И последний звонок…

Набрал номер. Пока шли гудки, он измученный алкоголем, с трубкой в руке, заснул.

— Але, – сказали в ухо.- Але-е-е! Ну, говорите, блядь!

Дядька проснулся и тоже рявкнул. – Ты че орешь, мудила? Какого х.я звонишь сюда, гондон.

Это я уже потом узнал, что звонил он своему начальнику. Хотел отпроситься на денек. Его отпустили на гораздо большее время.

9

В понедельник я сдал текст и договорился с редактором, что уеду до среды в деревню. Я ездил туда к мужику, который разводил мустангов. Лет семь назад он привез с Донских степей пятерых жеребят. Теперь у него их штук пятнадцать. Целый табун. Днем они были в работе. А ночью со спутанными ногами бродили по лугам, стряхивали с ромашек ледяную росу. Сейчас мустанги в конюшне. Если зайти туда с фонарем, то можно увидеть их бешеные, налитые лиловым светом, глаза. От страха кони раздувают ноздри и бьют в пол копытами.

Когда-то в этой деревне жила моя бабка. С ней и я жил здесь. Чего только не было в этих местах. Пескари на самодельную из орешника удочку, которых я, присыпав солью, развешивал под потолком на сушиле, а шкодливый кот воровал их оттуда и грыз под террасой. Коньки, привязанные к валенкам. Тележное колесо на озере, в ось которого втыкался железный кол, а к колу горизонтально привязывали длинный шест. Колесо вмерзало в лед. И к концу шеста можно было цеплять санки. Кто-нибудь за один конец, который обычно был ближе к оси, по небольшому кругу вращал этот шест, а привязанные к другому концу санки развивали просто бешеную скорость.

Был там и заброшенный в старом доме чердак. А на чердаке всякие штуки к велосипеду. Динамики, фары, катафоты и сам велик «Дукс», с изъезженными по этим дорогам покрышками.

Еще помню осень в этой деревне, когда резали поросят. Было в этом что-то жуткое и губительное. Запах приближающегося снега по утрам и дыма из печки. Отец с кем-нибудь закалывал поросенка. Я затыкал уши. Потом одевался, выходил на улицу, а его, с еще бьющей слабыми всполохами из рваного сердца кровью волокли из хлева. Факелами, сделанными из соломы, начинали палить. И тогда уже всюду разносился запах жареного мяса. Я ходил рядом, смотрел в пустые поля. Какая-то не вмещающаяся в слова грусть стояла в них синевой. Вот и кончилось. Лето. Каникулы. Поросячья жизнь. Этим поросятам бабка сперва рвала крапиву, варила в чугуне картошку, которую мы с братом таскали оттуда и, перекидывая с ладони на ладонь, чистили от кожуры, ели. Вкусно-о-о! А теперь вот – лето кончилось. И сердце мое было маленькое, сжавшееся, беспомощное. Лето кончилось. И бабка собирается ехать на зиму в какой-то далекий город Куйбышев. И деревня остается одна. Уезжают все.

Я хожу по лужам, а они пронзительно хрустят ото льда. И вода в прудах свинцовая, как небо. И тоскливо, беззвучно кружит над черными полями ворон.

Потом, когда поросенка разделывали, бабка варила в чугуне солянку. Все ели, выпивали, и в натопленной избе, с горящими от долгого нахожденья на первых морозах лицами, засыпали.

Я выходил в осень. Бродил по улице, трещал засохшей полынью и посещал брошенные дома. Когда-то и кто-то жил в них. А теперь…

Теперь в избе деда Семена висели выцветшие за стеклом фотографии. Жили люди, жили. Куда-то стремились, о чем-то говорили, любили, ненавидели. И вот – только фотокарточки в пустой избе. Там, где были раньше образа, теперь голуби свили гнездо, а вот еще одно, еще. Голуби с треском вылетают в маленькую рамку, где нет стекла.

Натыкаешься на чемодан. В чемодане – школьная тетрадка, ровный девичий почерк. «Вчера он приехал ко мне на тракторе. Но я прогнала его». И дальше – коричневые пятна. В такие пятна спустя годы превращаются на бумаге слезы. Как будто запекшаяся кровь. Ушанка на гвозде, транзистор на подоконнике. Пустая бутылка из-под шампанского. Жили люди, жили.

Я прихожу домой. Все еще храпят. Жаром полышет печь. Бабка прядет возле окна. Мы говорим. Вернее, рассказывает она. О колхозе, Семене, волках и душевных посиделках с гармонью.

Я всю ночь читаю возле печки какой-нибудь старый, начала 80-х годов журнал. «Новый мир», «Сельская молодежь», «Юность». А утром приезжает дядя Миша на ПАЗике, либо кто-то еще на грузовом авто. Иногда бывало – легковушка и трактор. Мы с бабкой ютимся в его кабине. Трогаемся с рывка. И плывут за окном поля голые. Похожие на вскинутые к небу руки ветки деревьев плывут.

Я вспомнил все это, когда мы с Николай Федорычем топили баню. Затем кунали веники в кипяток. Поддавали в каменку ковшом и парились. Сквозь маленькое запотевшее оконце пробивался сырой свет.

Николай Федорыч парился в танкистском шлеме. Его сын в Чечне командует танковым взводом. Вот и привез отцу три штуки. А чего еще оттуда везти-то, из Чечни? «Зимой в нем тепло, в бане лысину не опалишь», – подмигивает мне конезаводчик.

Отдохнув и напившись чаю с вареньем, мы идем на конюшню. Николай Федорыч выводит мустанга. Фыркает, перебирает ногами рьяный конь. Рвется куда-то из теплого стойла. В холод, в осень. Зачем?

Выведешь его в опустевшие луга, где стоит едва уловимый, тот самый, из песни, вечерний звон. Запрыгнешь и помчишься, куда глаза

глядят. Уже темнеет. И сумерки эти приносят отчетливое ощущение полета. Кажется, не сбавляй скорость, не придерживай узды, и конь твой вынесет тебя к Луне, к звездам.

10

К рассвету выпал снег. Казалось бы, ну что снег для России? Выпал и выпал. Но вот обомлело вдруг сердце, какие-то другие ощущения появились. И свет! Никогда больше потом зимой не будет таких ощущений и такого света. И синиц таких, очумевших, тоже больше не будет.

Я еду в трамвае, смотрю на город и чувствую, как греет за пазухой, в сплетенье солнышко. Мечется зайчиком в окне.

Вечером звонит Валуев.

— Говорят, ты снова в любовном омуте? Я даже знаю, кто она.

— Поздравляю, – говорю.

— С чем?

— Ну, с тем, что ты знаешь, чего я сам еще толком не знаю.

— То есть, ты еще с ней не это? Ну, не трахался?

— Слушай, Коля. Иди ты на хер.

— Да ты че! Она тебя сама сегодня искала. Такая телка!

— Трахнуться – не проблема. А дальше что?

— Во дает! Как что? Новые ощущенья, новая кровь.

— Я могу тебе с точностью до последнего диалога рассказать все эти, как ты говоришь, новые ощущения.

— Так чего ж ты хочешь-то?

— Я хочу как можно дольше отдалять момент, который в современном русском языке звучит как «трахнуться» или «заняться любовью». Хочется, чтоб был кто-то… Как бы тебе это, дураку, объяснить? Хочется, чтоб была девушка, которая как мечта. Короче говоря, когда все рухнет, она останется.

Аня, вернись

Петербургский художник Женя (съевший не одну собаку в жанре некрофилии) и актер кукольного театра Андрей (осваивающий в тюзе роль не очень сердитого волка) собрались на охоту. Они позвонили мне как «специалисту по жопе родины», попутно выдвинув уточняющие требования: чтоб мобильной связи никакой, чтоб ущербная осень в среднерусском пейзаже и чтоб утка летела тучей.

Я-то ненавижу эту охоту с детства.

Каждую осень ближе к заморозкам бабушка приносила с озера целую снизку еще живых в капканах ондатр. Те вырывались, верещали, клацали сковывающим их железом. А бабушка степенно брала по одной за внушительный, как бикфордов шнур, хвост и, ударив головой о приступок крыльца, успокаивала. У ондатр были открыты глаза, из ноздрей сочилась кровь. Но страшно не было, просто удивляло и не постигалось вот это: все так легко происходит. Жизнь – перышко на ладони.

В общем, на охоту я не собирался, но проведать место, в котором для меня было столько обжигающего сердце пространства, желалось очень.

Товарищи добрались до Москвы вечером, употребили по три кружки чаю. Я кинул в багажник рюкзак, и мы тронулись.

Нижний прошли в полночь, подолгу задерживая взгляды на мостах, утыканных огоньками. Я испытывал самое настоящее, совершенно дурацкое, как улыбка похмелившегося человека, бережно несущего облетевший букет роз, счастье. От этого уюта, катящего на четырех колесах, запотевших боковых окон, которые то и дело нужно было протирать ладонью, печки, дышащей подогретой осенью прямо в лицо, но главным образом от того, что так все удачно пока складывается. И я еду.

Под утро свернули с большака, остановились. Туман не давал никакой возможности оглядеться. Метрах в пятидесяти справа виднелась шиферная крыша двухэтажного барака, много-много антенн. Из-за этого барак походил на заблудившийся в среднерусских просторах фрегат.

Вдруг из марева проступила фигура мужика. Фуфайка защитного цвета, сырые резиновые сапоги с прилипшими нитями трав. Руки в карманах. К правой была привязана веревка, уходящая далеко в марево.

— Братва, закурить не дадите?- сипло спросил он.

Я вытащил пачку.

— Подожги сам, а.

Чиркнул зажигалкой, протянул, он вытащил из карманов руки. Пальцев на них не было. Ни одного. Сигарету он зажал в культях, затянулся.

— Че за город-то, отец? – поинтересовался Женя.

Дядька поддел цигарку языком, сдвинул ее в уголок рта и невозмутимо ответил:

— Марс.

Веревка на его локте зашевелилась, стала дергать.

— Паскуда, – процедил он, впрочем, без ярости. – Борька, Борька, Борька, твою мать.

С другого конца провода раздалось баранье блеянье, переходящее в нецензурное.

— Ты куда нас завез? – спросил актер.

— А мне нравится, – благодушно потянувшись, сказал художник-некрофил.

Белая пелена оседала, будто пыль в полях от комбайнов, удерживаясь лишь в желтеющих перелесках.

Как ни странно, проселочные дороги не запахали, они не заросли репейником и, кажется, были даже на прежних местах. Кто-то куда-то ездил по ним.

На месте была и деревня, которую сперва помечали в картах как «нежил.», а потом и вовсе перестали наносить. На въезде гостей встречал ржавый остов старого гусеничного экскаватора, уткнувшегося ковшом в землю. Лет двадцать назад в деревне появился фермер, отставной полковник ОБЭП. Он разработал маниловский план, провел даже асфальт в голове своей, получал немыслимые урожаи топинамбура, взялся чистить озеро, форелью из которого, по его словам, планировал обеспечить на долгие годы не только район, но и всю Нижегородскую область, а может, быть даже и страну. Потом, правда, экскаватор сломался, топинамбур чего-то посох, а рожь забили васильки. Фермер осерчал, написал комбайном по полю что-то вроде «Прощай, немытая Россия». Сдал в металлолом всю технику и купил в Болгарии маленький домик.

Мы медленно мяли «кенгурятником» бурьян.

— Забавно все как, – сказал Женя. – Природа, как собака, зализжет на себе любые раны, которые сделал ей человек. А человек, если стал ублюдком, то это не лечится.

С легкостью матерого домушника монтировкой он поддел на амбаре замок. Обнаружил там порожние сгнившие бочки, сундук с поеденным молью добром, конскую узду на гвозде и косу-литовку. Неотбитая, она шла плохо, но полынь и крапиву до крыльца уложить кое-как удалось.

И амбар, и дом принадлежали последней обитательнице этой деревни – бабе Нюре (Анне Михайловне Дарькиной) по прозвищу Черная. Внешностью цыганки и норовом ледокола «Ленин» когда-то она внушала ужас местным передовикам пятилеток. Анна Михайловна, в ту пору еще просто Анька умела за ночь спахать на каком-нибудь чахлом ДТ-75 три дневных нормы. Забулдыжные механизаторы всерьез полагали, что без ее ведьминских замашек тут не обходится.

— Если глянет недобро – сляжешь, а если хорошо поглядит – пропадешь, увязнешь, собачонкой на привязи станешь, – галдели мужики.

И развивали тему.

— А чего. Вон видал у нее запаска от «Беларуси» за сараем в крапиве стоит? – говорил один другому.

— Ну, – напрягался тот.

— Вот в этом колесе она по ночам и шабашит.

— В смысле?

— На этот, как его, на съезд ведьм летает.

Трактор свой она звала нежно, как городские фифы своих фанфаронистых ухажеров «мальчик мой». Если случались поломка, она загоняла его «на яму», в которой в девятнадцатом веке обжигали кирпич. Холила и лелеяла. Без нее не обходилась ни одно всесоюзное мероприятие – Волго-Дон, целина. Товарищ Хрущев собственноручно приколол на ее (во всех смыслах выдающуюся) грудь Орден Ленина, пожал ладонь, и даже, говорят, поцеловал в смольную щеку. Но орден она не носила, разве что по-пьяни иногда растворит со звоном окошко и безумно заорет через озеро:

— Стакан орденоносцу!

Правда, никто чего-то не спешил, не несся сломя голову с граненым, боясь расплескать. Да и не кому было. В деревне, кроме нас с бабушкой и Таньжи, проживающей в тополях под кодовым названием «где в 79-м году Семен Костькин об башку агроному гитару сломал» больше жителей в ту пору не имелось.

— Странно как, – сказал актер Андрей, когда мы вошли в дом, – замок не сломан. Выходит не лазили. То ли все такие сознательные в округе. То ли...

— Тебе ж, идиоту, говорят, – интеллигентно перебил Женя, – колдунья тут жила. Вот и все объяснения.

И правда – все, все было на месте. Чугуны, ухваты, фотокарточки в рамке, крашеной серебрянкой, в столе обнаружилась даже советская мелочь и стихи песни «В лунном сиянье» переписанные от руки. Отвердевшие пряники в авоське, кровати с железными еловыми шишками на спинке, мертвая бабочка между рам. Как будто хозяйка вышла куда-то на время.

Мы распаковали рюкзаки, я пытался разжечь печь, но она чадила.

— Выпить надо, – резюмировали Женя. – А потом, помолясь, поди, и к супу кого-нибудь застрелим.

— То есть, как это, кого-нибудь? – всполошился актер. – Я сюда на уток ехал.

— Не ссы, – подбодрил его художник.

Выпив и закусив, петербуржцы, долго собирали свои навороченные ружья итальянской фирмы «Бинелли», затем отправились на озеро. Я разглядывал фотографии. Она на гусинице трактора, а вон тост произносит за богатым столом. В молодости она была красива, несмотря на мощный нос и едва заметные пыльные усы над губой.

С Черной была связана самая романтичная в деревне история. Однажды (в конце 60-х), когда она уже вернулась из своих странствий окончательно, к ее дому подъехала желтая «Волга» 24-й модели с шашечками. Шустрый, щуплый мужичонка долго выгружал из багажника прямо на траву позвякивающие ящики со спиртным, свертки в бумаге. Черная вышла на крыльцо и застыла:

— Чалый, ты?

— Кто ж еще, – лыбился разодетый в расклешенные кримпленовые брюки, пиджак и желтый чешский галстук тот.

Как выяснилось позже, вместе с этим Чалым Анна Михайловна когда-то в буквальном смысле давала стране угля. Она сгребала этот уголь на тракторе, он – был слесарем в автоколонне. Потом поднялся, возглавил ее. И вот – явился.

Весь вечер они кутили под старой черемухой, вспоминали. Она – в цигейковой шубе, подаренной им. Он – галстук долой, в рубахе, расхристанной на груди. Никто толком ничего не знал о том, что у них когда-то было, только Чалый потом проболтался деревенским, что каждый отпуск следовал за ней по пятам, искал.

И вот – ночь. Чалый долго курил на воздухе. А вернувшись, нарочно ошибся койкой. Анна Михайловна трактора колесные переворачивала

руками, а его просто взяла за шкирку, за трусы и выкинула в окошко. И шубу тоже.

Впрочем, начальник автоколонны парень был упертый, чумовой. Он еще раз съездил в город за водкой, опоил всех комбайнеров, нарушил уборочную. И через три дня на ЗИЛу, в кузове которого был из тех же комбайнеров подобран вполне себе профессиональный оркестр с баяном, балалайкой, пионерским горном и даже тамбурином, приехал снова. Но Анна откровенно послала всех этих жалельщиков из министерства любви.

— Сука, – шептались в кузове. – Такого мужика приворожила. А теперь изгаляется.

Но и тут не сдался бывший автослесарь. В татарской деревне Лопуховке, что была по соседству, он приобрел ей пегого жеребенка женского полу. И назвал его АНЯ, ВЕРНИСЬ. Перевязал бантом из косы дочки одного татарина. Отослал. Затем докончил оставшиеся деньги и укатил в свой угледобывающий край.

«Пах, пах», – стелилось от озера по не просохшей еще траве.

Черная тоже стала под старость поддавать задорно. Затрет две фляги бражки из старых вареньев, и не давая им созреть, тихонечко выцедит ковшиком. Ходит, бормочет что-то, шепчет себе под нос. Пролетающие мимо грачи к ногам падают. Выпьет, а потом клянчит у бабушки. Но бабушка ее ни разу не боится, раз откопает в смородине бутылочку из заначки, другой, потом пошлет: «Нюрка, ты меня хоть в ежика преврати, больше не дам. Ты ж подохнешь. А я потом жалеючи на жальник (почему-то так иногда называли в деревне кладбище) при... Она уходила, не превратив бабку даже в корову, все шептала чего-то, шептала. Ее запои странным образом рифмовались с пришвинскими «весной света», «листобоем» и «зазимком». Однажды она подозвала меня, шарахающегося по саду, в поисках орешника на удилище. И попросила втихаря от бабки съездить в ту самую Лопуховку. В магазин. За вином «Улыбка». Сказала коротко:

— Не то сдохну.

Мне было 9 лет, и на лошади ездить я добром не умел. Но она помогла, подсадила на Аню (которую уже можно было назвать старой клячей), зажала в кулак синенькую пятирублевку, присовокупив к лошадиному заду смачный поджопник. Сама же чинно и как-то плавно завалилась боком от этого па в крапиву. Я поскакал.

Это было настоящее волшебство! Поля неслись мне навстречу, мир был таким теплым и простым, как баня на следующее утро.

На сдачу к трем бутылкам с кубанской девушкой на этикетке, седовласый татарин Алим насыпал мне в холщовую сумку мармеладу в крупинках сахара. Отвешивал Аньке поджопник, и я мчал обратно. Сверяясь с тропкой Млечного Пути.

«Ба-бахх» – неслось с озера.

Мы сошлись с ней на фоне «Улыбки», и еще некоторых незначительных вещей. Только-только в далекой Мексике закончился чемпионат мира по футболу. Мне купили мяч, настоящий, ну, такой, с черными ромбами. И я слонялся с ним, забивая голы во все воображаемые ворота.

Тогда Черная пошла к старухам, построила их на лугу. Разбила на две команды. Бабушка с Таньжой, а мы с ней. Штанги сделали из худых чугунов. И началось.

Черная ловила летящие верхом мячи подолом своего фартука, и так несла, как гуся, к противоположным воротам, там вываливала и пасовала мне. Остальное было делом техники.

— Это не по-футбольному, – кричала Таньжа.

Мой массивный вратарь-гоняла, шел в расклешенной цветастой юбке на свою половину поля, астматично дышал, и никак не реагировал.

— Это не по-футбольному, – на тон выше канючил соперник.

— Иди ты на хер, – беззлобно реагировала та... – правила вон... иди почитай.

В тот день мы выиграли со счетом 11:3.

Художник с актером вернулись часа через четыре. На их поясах висели утки. От шагов шеи птиц колыхались.

— Девять штук, – сказал Женя.

— Двух не достали, – уточнил Андрей.

Уток сложили в ряд, и Женя принялся их фотографировать. Селезни отливали радугой.

Товарищи пили, смеялись, позировали друг другу с ружьями, из которых не выветрился еще смертельный дух. Раскрыливали уток. Ветерок шевелил их верхние пуховые перья.

Я пошел бродить по деревне. В доме, где когда-то проводил у бабушки каждое лето, а бывало и зимы, отсутствовали крыша и пол. Теперь там, как в оранжерее, росла береза. Из мертвой, сброшенной кем-то с потолка земли при разборке потолочных досок, я пытался извлечь книжный шкаф. Острое и холодное что-то полоснуло по ладони. И закапало в пыль, сначала беззвучно, а потом тенькая, будто маятник в часах.

«Кап-кап, кап-кап», – выталкивало сердце.

«Тук-тук, тук-тук», стучали когда-то ходики, когда мы здесь под вечер успокаивались, и бабушка, сидя на сундуке, рассказывала со смехом про далекое. Ужасное или светлое. А мы, в предвкушении утренней рыбалки или похода в поля за созревающим горохом, засыпали сладко, не понимая ее молитв и замысловатой, шепотом сказанной фразы «Бог – все во всем».

Я не был тут с тех пор, как не стало ее, потом Черной, 12 лет прошло, а на яблонях в саду ветер раскачивал огрызки веревок, которые служили нам качелями. Стоишь, смотришь на это, и вдруг тебя, что называется, накрывает. Здесь почему-то вериться, что ничто и никуда не уходит, не исчезает насовсем. Обрывки тех слов, отношений, характеров остаются где-то на мировом сервере памяти. И когда совсем муторно, вспомнишь, будто наберешь известный адрес в сети, и по ссылке в поисковом окошечке всплывет другое бабушкино выражение «Делать надо все старательно и хорошо, говенно само получится».

Когда я вернулся, у костра, кроме товарищей сидел на корточках какой-то дед.

— А я слышу, громыхают, – говорил он. – Дай, думаю, схожу.

— А сколько тут до вашей деревни?- спрашивали питерцы.

— Да километра три, наверно.

Женя немедленно вручил ходоку самых отборных уток, пластиковый стаканчик.

— Не, не, – запротестовал тот. – Я их не ем. Зубов шесть штук осталось, да три тебенька. И у старухи тоже. Я зайчишками, бывает, промышляю, – усмехнулся он чему-то. – Даже свой способ охоты изобрел.

— То есть? – выпив тоже, спросил Женя.

— А вот нюхательный табак, знаешь?

— Угу?

— Значит, беру его, хожу такой, по пенькам рассыпаю. Заяц подошел, нюхнул, и кэ-эк чихнет – х...к мордой об пень. Готово дело. Я потом только иду утром, в мешок их штабелями складываю.

— Гонишь, дед, – сказал Андрей.

— Провалиться на месте, – лукаво сощурился старик. Его одарили сигаретой и дополнили стаканчик водкой.

Он ловко, без спешки, выпил, занюхал опять рукавом.

— Пойду я, ребятки. А ты, что ли Ольгин, внук? – вперился он в меня. – Во вымахал. Помнишь, ты маленький приходил ко мне в кузню и просил дать железяк?

Я не помнил.

— Ну, я тебе и дал, чемодан с подковами, еще какой-то рухлядью. Эх, бабка твоя мне звездюлей и навешала. Говорит, надорвался, три дня с горшка не слезал.

По этому случаю деду налили еще.

Женя рассказал про утреннюю встречу с мужиком.

— А, это Толик, – прикурив от головешки, сказал старик. – Он столяр от бога. А года три назад москвичи выкупили там ДОК. Ну, он забрал тиски, говорит, его были. А они ему морду набили, и пальцы обеих руках топором обкорнали. Сказали, закон должен быть и порядок. Что поделать, звери.

Дед помолчал.

— А город тот вовсе не город, село. Раньше Маркс называлось, потом, как водится, нужная буква, отвалилась. Кругом один Марс, ребятки. Ну, спасибо вам, Медведеву и Путину. До свиданья.

Женя вознамерился довезти его до дому. И Андрей тоже.

Руку дергало под бинтом, не утихало, я растопил печку.

Вернулись они только к полуночи. С ними был бородатый спутник в футболке ЦСКА, 25 номер, сзади надпись «Рахимич», а на трусах другая- «Дина».

— Отец Виктор, – отрекомендовал его Женя, вынося из машины еще охапку спиртного. – Вот такой чувак. Нападающий последней молодежной сборной СССР по футболу. От него три дня назад жена ушла.

Батюшка зачем-то привез с собой икону,завернутую в полотенце, поставил ее аккуратненько на крыльце и уселся возле костра.

Потрескивал пластик в ладонях, гремела музыка через форточку авто, полная луна далеко простирала тени деревьев. И землей пахло, которая отмучилась, родила и теперь, изможденная, успокаивалась.

— Вот я мертвяк рисую, батюшка, – говорил Женя. – Понимаешь? А к картинам этим из американских галерейщиков очередь. Я ж когда-то так, дурачась, написал это. Теперь этой хренью деньги зарабатываю. А вот они, – кивнул он в темноту то ли на уток, лежащих в траве, то ли на саму деревню – были живые. Настоящие.

— А мне, понимаешь, роль волка никак не удается, – гнул свое Андрей. – Заурядный он какой-то выходит, мудацкий, извини за просторечие. Какой-то кроссворд для электрички.

— Господи, какие же мы все мухи, – говорил отец Виктор, опрокидывая очередной стакан. – И я, и вы. Все.

Они еще долго говорили о Льве Гумилеве с его «Этногенезом и биосферой земли», о том, что у каждой нации есть свое окончание,

о Генри Форде, о братьях Кличко. Потом все, кроме отца Виктора разошлись, уснули, кто где. А я еще долго слышал с печки сквозь пьяный храп товарищей, как треща бурьяном, в футболке с 25 номером на спине и трусах с надписью «Дина», батюшка ходит босиком по деревне и басовито поет: «Богородице, Дево, радуйся».

Утром мы проснулись от воя сигнализации.

Женя выскочил на улицу, вернулся, усмехаясь.

— Е-мае, я ж забыл. Мы вчера в магазине у девушки кота купили. За 56 рублей. Она про какую-то тетю Маню говорила, мол, ее животина. Но нам-то по фигу, что ты, мы ж пограничники. А этот, сволочь, пригрелся в машине и дрых на задней полке, под утро наверно, надоело, и стал везде лазить.

Он держал кота за загривок, тот щурился, моргал глазами, висел.

На улице моросило. Завтракали чаем в пакетиках и раскрошенными конфетами «Родные просторы». Батюшка прятал грязные ноги под лавку.

К обеду развиднелось, и я опять шатался по деревне. Заходил в дома, уносил оттуда пуговицы с тесненным якорем, листки, исписанные чернилами, чей-то нательный алюминиевый крестик.

Когда мы повезли отца Виктора домой, у него вдруг зазвонил оживший мобильник.

— Матушка, ты уж прости меня, дурака, – сказал он в трубку и засиял. – Спаси Господи.

Он нажал отбой и выдохнул:

— Аня…

Сглотнул что-то, морщась, будто у него больное горло и добавил:

— Вернулась.

* * *

У дома священник благодарил нас за что-то, трепетно и даже горячо, базапеляционно отказывался от уток, но мы уговорили, навязали. Я взял листок бумаги, положил его на капот джипа и минут десять писал на теплом железе всех деревенских, которых и не знал даже, но по рассказам бабушки, Таньжи и Черной помнил.

— Спаси Господи, – твердил отец Виктор от порога, махал нам этим листком, прикладывал его к груди и слегка, почему-то виновато кланялся.

Мы сели в машину и поехали за грибами.

Баба Таня и хоккей

В деревне Черновские Выселки живет баба Таня. Она там знаменитость. К ней местные рыбаки за советом ходят. Вот сидит она на скамейке перед домом, картошку чистит.

— Баб Тань, ты на что сазана-то в субботу взяла? – спрашивает тракторист по прозвищу Кутяй, проезжающий мимо на своем чудовищно заляпанном до крыши «К-700».

— На что, на что... На пуговицу, Витя, – отвечает баба Таня, спиралью укладывая в дырявое ведро картофельную кожуру. Чищеные корнеплоды в эмалированную чашку с водой летят.

— Какую еще пуговицу? – высовывает Кутяй из окна косматую бОшку.

— Какую, какую, от шубы. Я в ней в шестьдесят восьмом году в Саратов ездила.

И ведь не врет, насчет пуговицы-то. Ее она прилаживает вместо крючка, сверху накладывает жмых. Сазан подходит, начинает тихонько тот жмых поедать, а тут пуговица мельтешит, он хвать ее и выплевывает, как мусор. Но не через рот, дуралей, выплевывает, а через жабры. И тут баба Таня подсекает. Кутяй – в шоке, давит на газ, едет на ферму навоз выгребать.

А вот старик Николай Петрович Куторкин, трижды ударник социалистического труда.

— Таньжа, – начинает пафосно он, – ты, небось, к финалу-то сил поднакопишь? Не уснешь, чай? А то я могу прийти, одергивать тебя буду.

— Верку свою одергивай, – серьезно отвечает баба Таня. – Дергач нашелся.

Для человека постороннего разговор этот, возможно, несколько груб, и, может быть, даже ругателен. Объясняю. Помимо того, что баба Таня Горбаева является в округе одним из самых удачливых, как она говорит, рыбоудов –приезжают на здешнюю реку мужики, со спиннингами, с эхолотами, день сидят – дай бог на ужин коту налавливают, а баба Таня с удочкой из обычного орешника, леской ноль целых двадцать пять сотых миллиметра и крючком пятеркой, карпов по килограмму за смену по несколько штук вытаскивает. Помимо, говорю, всего этого она еще слывет тут страстным поклонником хоккея. И не просто поклонником. Как формулируют аборигены, баба Таня в этот

хоккей «кусками сердце вкладывает». От сердца, молвят они, почти уже ничего не осталось, так – всполохи. Но какие! В прошлом году я сам было тому свидетелем.

В деревню Черновские Выселки я попал случайно. Машина «УАЗ» серии 469 на кочке повредила кордан. Шофер махнул на попутках в район. Чинить деталь, я остался. Тогда-то мне и рассказали про эту бабку. Была средина мая. Сады утопали в цветенье. Когда я пришел, баба Таня в террасе на газовой плите готовила щи. Она заметно волновалась. «Ты не знаешь разве? Хоккей сегодня», – говорила. – «Матч века. Россия – Канада». Она колготилась, и вместо квашеной капусты из банки, добавила из банки другой ложку вишневого варенья. Невзначай отдавила хвост путавшемуся под ногами коту и растопила монографией дочери по парадигме глагола, русскую печь.

К вечеру изба наполнилась теплом, щи с вареньем подходили, кот на печке обиженно зализывал хвост.

Телевизор у бабы Тани хоть и цветной, но довольно старый. «Рубин» называется. В задней избе, огромный, как гроб, он стоял на четырех тоненьких ножках, занавешенный ажурной салфеткой.

— Так-то хорошо показывает, чисто, – говорила она, откинув с экрана вуаль, но бывает, иной раз зарябит, так зарябит, что Жириновского с Кудриным путаю. Я тогда сразу знаю, опять Ванька Малюгин напился.

Ванька Малюгин – это сторож на ретрансляторной вышке в районе. Ни к каким приборам его, конечно, не подпускают. Но больше баба Таня там никого не знает. Поэтому виноват всегда он.

И вот она включает телевизор, мы усаживаемся. Я на топчане с тренькающими, словно лопнувшая струна, пружинами. Она – прямо перед экраном на стуле со спинкой, в линялом платочке, очках.

Темно и только синие тени от телевизора блуждают по потолку. Отзвучали гимны – российский и канадский. Конец условностям…

— Этот драчун-то американский Айзерман не играет уже. Старый, наверное, стал, – сказала баба Таня неизвестно кому.

— Так он же канадец был, – тихо возразил я.

— Ты меня не путай, – серьезно сказала баба Таня, – Канада-то, где находится? В Америке. Вот.

Бабе Тане 91 год. Однако энергии, как у гусеничного трактора ДТ-75. До сих пор ухаживает за огородом в 15 соток. Держит двух свиней, индюка Федю и кота по имени Беляш. Так, говорит, внуки назвали, коих у нее набралось от шести детей восемнадцать человек. Дети были подняты в одиночку. Муж умер в 57-м году, так и не сумев оправиться от туберкулеза. В войну он командовал партизанским отрядом где-то

под Брянском. Она тоже странствовала, работала медсестрой в блокадном Ленинграде, с тех пор, не переставая, вяжет шерстяные носки и консервирует сало, овощи с огорода с запасом, на несколько лет вперед. Но вот откуда взялась эта страсть к хоккею, баба Таня толком сказать не может.

— После войны, Василий мой играл один раз в Пензе, – вспоминает она про мужа. – Чудной был. В коньках, а с одной рукой. Три гола забил, – вспоминает она в темноте. И тени по потолку перемещаются, бегают. С 60-х годов, с тех пор, как у соседки Романовой Нюры появился первый в деревне телевизор, мимо нее ни один чемпионат мира не прошел. Впрочем, были, конечно, перерывы. С конца 90-х по 2005-й, уж больно много родственников помирало у нее в этот период, не до хоккея было.

— Да и силы уж не те, – говорит баба Таня. Вот в 2007-м, в Москве, когда играли, полуфинал с финнами, помнишь? Я перед концом третьего периода че-то задремала так, захрапела, сама себя разбудив. Тут нашим и вкатили, шайбу-то. Помнишь?

— Малкин! – крикнул комментатор. – Овечкин!

— На агронома на нашего похож.

— Кто? – в недоумении спросил я.

— Овечкин. Тот тоже носится как угорелый на мотоцикле своем, на этом, как его «ИЖе». У Зинки Вороновой трех кур задавил, у Верки Ермолаевой – одну. И всех насмерть.

Мы помолчали немного.

— Глянь-ка, сказала баба Таня, – а Быков-то сегодня в новом пиджаке.

— Мне кажется он всегда в черном, – спорил я.

— А я тебе говорю, в новом. В полуфинале в елку был пиджак, будто драповый. Настенкка на прошлой неделе в свой магазин такой привезла. Стоит, как «Жигули». И калоши, представляешь по триста пятьдесят рублей за пару. А сейчас, погляди, будто атласный пиджак на нем, сатиновый. И главное дело, не улыбнется никогда, Быков-то, с Тихонова, наверное, пример берет. Помнишь Тихонова. Серьезный был, как разведчик.

— Ой, ой, ой, – запричитала вдруг баба Таня. – Зачем же клюшкой-то прямо в лицо. Мать, поди, щас смотрит, сердце кровью обливается. Федоров, а ты куда глядишь. Дай ему в шлем. Будет знать, как лезть, – обратилась она напрямую к нападающему Сергею Федорову. Тот глянул в экран и поехал меняться.

— Эх, Рогулина на них нет, – вздыхала баба Таня. Мы году, в семьдесят третьем, кажется, смотрели с Олечкой Елагиной матч. Тоже с канадцами наши играли. И вот Рогулин-то их прямо за борт кидал.

Берет за шкирку и бросает. Берет и бросает, она жестами показала как. – Как щенков.

Рогулина не было. Наши безнадежно проигрывали. Баба Таня мяла в руках с вой фартук и все больше молчала. Иногда только произносила что-то вроде:

— Ну, куда ты, милый лезешь, вне игры же.

А потом случилось вот что. Стул свой баба Таня перенесла в угол. Залезла на него в темноте и чиркнула спичкой. Под потолком закачался скромный пучок света. Разгораясь, лампада осветила иконы. Баба Таня отнесла стул на кухню, встала на колени и зашептала:

— Заступница усердная…

Мне стало как-то неловко сидеть на диване, я встал и зачем-то ушел в кромешно темную кухню. Хоккей я больше не смотрел, а только слушал. Я слышал, как за несколько минут до конца третьего периода сборная России сравняла счет. Но баба Таня не двинулась с места. Я слышал истошный вопль, когда Илья Ковальчук забросил победную шайбу. Но и тут баба Таня осталась на коленях. Только минут через пять она почти промчалась мимо меня вприпрыжку, проскакала как будто на детской лошадке, у которой только голова, а вместо туловища -палка. Потом неспешно вернулась, зажгла верхний свет. Лицо ее было тихим и усталым.

— Чаю-то с вечеру набуздалась, – степенно произнесла она. Тут в окошко наше постучали.

— Кто? – спросила баба Таня. Это был дед Куторкин. Баба Таня отперла ему в сенях дверь, тот поклонился в косяке и сипло сказал: «Ура, товарищи». Потом попил ковшом из ведра воды колодезной и спросил:

— Отвечай, Таньжа, с какого периода стала молиться? Небось, с начала третьего? Я чуть инфаркт не получил.

— Да на тебе пахать можно, – обессиленная присела на лавку баба Таня, опустила на колени совсем ватные руки.

— Третий чемпионат так, представляешь, – обратился ко мне Куторкин. – Когда в первый раз мы с ней смотрели, я прямо натурально заплакал, представляешь? И в церковь стал ходить.

— Грех мне, Петрович, будет, – сказала вдруг баба Таня.

— Это почему?

— Люди у Бога здоровья просят. Или там счастья. А я ему про хоккей.

Беседы с волками

Профессор кафедры системной экологии Российского университета дружбы народов Александр Александрович НИКОЛЬСКИЙ меряет шагами свой крохотный, с келью, кабинет, увешанный фотографическими пейзажами разных мест. Шагнет от двери до книжного шкафа – совершит путешествие из Средней Азии на Алтай, где ветерок треплет цветущую поляну в рамке размером 15 на 20. От шкафа к окну прошествует — окажется на сопредельной с Индией территории Непала на фоне уходящей в космос горы Эверест.

Почти так же, из зимы в вечное лето, из субтропиков в стылую мерзлоту, он странствует до сих пор, с поправкой, естественно, на масштаб. Пятьдесят лет Никольский занимается исключительно фантастической темой — звуковыми сигналами млекопитающих в эволюционном процессе. У Никольского непоправимо добрые глаза, какие бывают у человека, видевшего много простора и неба. Чуть сутуловатая осанка — результат перенесенных в заплечном рюкзаке тонн акустической аппаратуры, блокнотов, сухпайков и прочих вещей, необходимых в пеших походах.

Александр Александрович, по-дурацки, конечно, упрощать научные исследования и переносить их на обывательский уровень. Но те звуки, что издают животные, звери, их можно называть разговором друг с другом?

— Это, конечно, не совсем язык и совсем не речь, которой из четырех с половиной тысяч видов млекопитающих обладает только человек. Но тем не менее эти закодированные звуки, биоакустические сообщения тоже несут в себе пусть и простейшую, но коммуникативную функцию. В них многое для ученых еще не расшифровано, не определено. И это страшно интересно. У каждого вида животных есть система поведенческих реакций, которые, скажем так, иллюстрируются определенным набором звуков. Если объяснять, что называется на пальцах, то давайте возьмем кошку. Вернее, ее мурлыканье. Этот звук невозможно извлечь из нее, даже если дать порядочный ломоть докторской колбасы. Только если кошке комфортно, уютно, она станет мурлыкать.

Никольский, конечно, специализируется не только на кошках. Предметом его исследований являются сурки, лисы, олени и в особенности волки. Перед ними он исполнен благоговения.

— У волков потрясающее ощущение собственного достоинства, и они обладают невероятной жаждой жизни. Записывать их в полевых

условиях задача довольно трудная. Нужно досконально знать их характер, повадки, и все равно, бывает, скрадешь расстояние, подойдешь с подветренной стороны, вон там, в долине, точно должна быть на лежке стая, но никого нет. По каким-то только ей ведомым ощущениям стая уходит.

Совсем без звуков?

— Не всегда нужно голосить, иногда можно тихо-тихо что-то «сказать» и все услышат. «Общение» волков чрезвычайно многообразно. При этом в их обиходе есть звуки, которые улавливаются человеческим ухом, а есть такие, которые существуют в диапазоне, доступном только им. Из тех звуков, что мы слышим, ученые, зоологи, морфологи — по аналогии с человеческими — выделяют сообщения о боли, тоске (когда выть хочется), радости и призыве куда-то. Несмотря на их общность, принадлежность к тому или иному эмоциональному фону, каждая особь в стае может выражать эти чувства по-разному. Допустим, матерый обладает чаще всего густым мощным басом, но при этом бывают и гнусавые. Чаще всего вожак показывает своим воем, что территория занята, это наша земля. Волчице присуща более высокая тональность, иногда переходящая в поскуливание и взвизгивание. Это такие прикосновения, материнская нежность. Переярки воют еще на тон выше матери, который едва ли не фальцет, дающий временами петуха. Прибылые, щенки, не воют, только скулят и тявкают. Кроме воя, существует и другой набор всевозможных звуков. Такие, например, как клацанье зубами, рык. В 70-е годы мы с моим аспирантом из Германии заметили, что волчица умеет издавать такой фыркающий звук. Тут же, буквально через секунду, все щенки будто сквозь землю проваливались. Пронаблюдав это в нескольких семьях, мы поняли, что это врожденный звук опасности. Волчат ему никто не учил.

А бывает ли у них что-то вроде вече, собрания, где они сидят и решают, как лучше свергнуть вожака из соседствующий с ними стаи? Или, например, как загнать лося?

— Что касается охоты, добывания пропитания, здесь вообще много непонятного. Какими сигналами они руководствуются, когда гонят животное. Как распределяют обязанности, кому идти в хвост, а кому обходить по периметру и становиться так, на номера, чтобы затем повиснуть мощными челюстями на боках, вцепиться в пах.

Или вот, например, родители, когда подзывают щенят к добыче на большом расстоянии, воем объясняют, как идти. Есть вой собирания в стаю. Вот матерый вернулся, а у логова никого не обнаружил. Он может такую тоску навести — мурашки по спине. Бывает коллективный вой —

вещь вообще посильнее любого цыганского хора будет. Одновременно и в ужас бросает, и в восторг. Зачастую тем воем они сообщают: мы здесь, мы никуда не уйдем.

Чем руководствуются волки, когда воют на луну?

— Ничем. Волки на луну не воют, как принято считать, просто полнолуние вызывает прилив различных эмоций. Вообще же, зверь этот, когда воет, всегда запрокидывает голову. И люди, увидев это, возможно, при свете луны, сложили такую легенду.

Вы наблюдали бесчисленное количество стай, существуют ли звуковые особенности у этого зверя в зависимости от его географического места проживания? Проще говоря, сможет ли мордовский волк, заблудившись в нижегородской области, по далекому вою определить: наши?

— Да, как я уже говорил, есть у большинства вожаков свои, индивидуальные ключи, «портретные характеристики». Но кроме того, существуют и различные диалекты. Мой друг, обитающий в Грузии, Ясон Бадридзе, утверждает, что кахетинский волк вряд ли поймет волка из Западной Грузии. Однажды он поехал к своему коллеге в Канаду. Начал, говорит, «вабить», развернулся, завитушки пустил — и вообще наплевали на него волки. А коллега просто кларнетом так «у-у-у» — и все, волки с ума сошли, заголосили. Я без ложной скромности скажу, что умею «вабить» классно. Но у меня больше среднерусский волк получается, протяжный, с перепадами. Годы тренировок.

В таком случае как же волчатники умудряются так запросто подделать? Вряд ли там речь может идти о годах учебы?

— Тут другое. У волка и многих других млекопитающих есть два периода, когда они очень мотивированы на отклик. Даже самая грубая имитация звука заставляет зверя нестись куда-то сломя шею. Первый период наступает в августе: животные осваивают территории, обучают детей жизни, здесь волчье — своего не отдам. Второй — это брачный период (у волка в феврале-марте, у оленя в сентябре-октябре). Уровень тестостерона зашкаливает до такой степени, что животное покупается, если даже будешь дуть в горлышко бутылки. Как влюбленный человек, оно способно на любое безумие. Даже тепловоз вдалеке прокричал — олень и рванул, вздымая листву, навстречу сопернику.

За годы поездок у вас, вероятно, скопилась весьма обширная фонотека волчьих и прочих звуков.

— Да, за это время информации на различных носителях скопилось столько, что на самосвале не увезти, — улыбается он. Начинали мы еще

на таких катушечных магнитофонах под названием «Репортер-3», сооруженных на каком-то из оборонных предприятий Нижнего Новгорода. Я единственный, кто сохранил это все в коробочках. Сейчас все это богатство хранится на зоофаке МГУ. Некоторое время назад моя бывшая ученица Наталья Нестерова предложила с помощью своего мужа, работника Дарвиновского музея, оцифровать их. Пять лет с периодическими отлучками в экспедиции мы этим занимаемся.

А есть ли что-то вроде словаря?

— Что-то вроде есть. Медленно, по крупицам, отбрасывая выдумки от фактов, данные копятся. Я же не один этим занимаюсь. Сегодня появилось много аппаратуры, программ, которые более углубленно позволяют изучить кодированные звуки млекопитающих. Но мы все прикоснулись пока только к верхушке.

Большое сердце вечной мерзлоты

Аэропорт в Норильске называется Алыкель. В переводе с языка эвенков топоним звучит не иначе как «счастье». Мы летели к этому счастью три с лишним часа.

Егор Петрович — водитель огромного экскаватора в шахте «Комсомольская», не найдя поблизости земляков, чинно употреблял из горла коньяк и доставал всех ликбезом о тамошних широтах.

— Зона была. Тюрьма. А потом красивый город стал. Весна у нас, знаешь, как приходит? — объяснял он соседу немцу Генриху. — Что ты. Фильм «Любовь и голуби» видел?

Сотрудник кафедры зоологии одного из университетов Австрии, вероятно, с фильмом этим не сталкивался, но на всякий случай кивал. Он в России впервые, да и кино вроде жалует, а сейчас летит к местному биологу, изучающему жизнь волка за полярным кругом.

— Ниче ты не видел, куртуазный бюргер, — сокрушался Егор Петрович, свой тулуп он не снимал до конца полета. — Короче, там, в кино, помнишь, как на деревьях — раз и цветы выстрелили? Вот и у нас так. Чуть оттаяло, и бац, прямо минуя почки и завязь. Волшебство. Не до романтических соплей. Зима — тоже. На работу пошел в рубахе с коротким рукавом, оттарабанил смену, переоделся, глядь в окно, е-мое, там снега по колено. Поэтому мы зимнюю одежу летом не в шифоньере храним, а в раздевалке.

ТУ-134 заходил на посадку три раза, двигатели ревели. Внизу мело.

— Сядет, — точно прокурор вынес решение Егор Петрович. — Или в Хатангу загремим.

Когда самолет приземлился, бледный Генрих захлопал. Звучало это пощечиной по мужественному сердцу аборигена.

— Ты че, немедленно прекрати, – сурово и театрально морщился Егор Петрович. – У нас сюда самолеты, как электрички ходят. Больше ни на чем не доедешь. А ты в электричке же у себя там не хлопаешь?

— Фантастика, — зачем-то сказал австриец.

— Оно, конечно, — недовольно пробубнил Егор Петрович. Но было видно, что он рад, что наконец-то долетел из этой кишащей Москвы, что дома ждут, что завтра на работу, а сегодня еще есть повод посидеть с друзьями, ведь он же вернулся.

Мы вышли на крыльцо. В метели можно было захлебнуться, утонуть. Женский голос сообщил в громкоговоритель, что в скором времени подойдут тягачи и, стало быть, прочистят до аэропорта дорогу.

— В Норильск? — проявился из метели вдруг человек в ушанке.

— Ему – да, — сказал Егор Петрович. — Я до Кайеркана.

— Поехали, — махнула в сторону сугроба голова.

— На оленях, что ли? — пытался шутить я.

— На оленях, бля, на оленях.

За сугробом стояла 24-я «Волга». Она тарахтела и распространяла пар. Боковые стекла машины были занавешены мерзлыми узорами.

— Как же вы сюда добрались? — спросил я, упав на заднее сиденье вместе с рюкзаком. — Люди вон каких-то тягачей ждут.

— А я ушлый, — сознался мужик. — Вдоль Карского моря на вездеходе, знаешь, по каким сугробам летал.

Мне почему-то не хотелось уточнять, по каким. Мне и этих хватало. Он весело продолжил.

— Да и разве ж это метель?! К вечеру, гляди, черная пурга завернет, вот где песня будет. Руки своей не увидишь, если вытянешь, конечно.

Я подышал на узор, растопив дырочку. Дорога в некоторых местах была переметена высокими снеговыми «барханами». На подъезде к ним водитель Виктор поддавал газу и начинал быстро-быстро крутить рулем. Сначала в одну, затем в другую сторону. Сугробы бухали о лобовое стекло и сухо ссыпались, а Витя ликовал, как пацан.

— А я на своем гусеничном экскаваторе вальс танцевал, — тоже почему-то радостно вещал Егор Петрович. — Ну Чебоксарский тракторный завод такие выпускал, что у них гусеницы независимо друг от друга работали. Водила наш уважительно качнул головой, мол, знаю, че ты...

У треугольного знака с изображением паровоза он чинно притормозил, будто пропуская железнодорожную единицу. Поезда не было. Верхушки айсбергов дымились, будто вулканы. Да и откуда ему взяться, если на путях снег высотой с хрущевский дом.

— У вас тут, наверное, и машины не угоняют? — спросил я его совсем не в тему, чтоб хоть как-то отвлечь от идиотского лихачества.

Тут он и вовсе бросил руль. Повернулся вполоборота, озарив червонным золотом зубов.

— Ну ты чипс! А куда гнать-то? Здесь и колючек по этой причине вдоль тюрем не строили. Тундра, однако. Беги волкам на потеху.

Мы вошли в «бархан» бампером, Витя вяло обернулся, словно хотел разглядеть, что там за недоразумение.

Минут через сорок, высадив Егора Петровича, оставили позади Талнах и въехали в город. Всюду трубы, трубы. Девятиэтажные дома во всех этих населенных пунктах стояли, словно на курьих ножках.

Сваями они держались за мерзлую вечность. Фасады высоток были разукрашены неуклюжими детскими рисунками. На сером бетоне то и дело зацветали сады, в огромное солнце летели птицы, изламывалась радуга над рекой.

Таким способом Норильск компенсирует нехватку атмосферного тепла. А еще переулками, сооруженными в стиле южного классицизма, тропическим декором в точках общепита и бесчисленными объявлениями о том, где можно сделать африканские дреды.

О чем бы ни заходили разговоры в этих краях, они обязательно сводятся к шахтам, к медеплавильным цехам, мульдам, конвертерам, шуровкам. Я, собственно, тоже приехал провести один день в шахте под названием «Надежда». Экипировавшись в портянки, в резиновые сапоги, штаны, куртку, противогаз, каску и расписавшись за налобный фонарь, мы с мастером бригады бульдозеристов Сергеем Будановым минут пятнадцать спускались в лифте.

— Сколько еще?— спрашивал я.

— Скоро, — подбадривал мастер. — А что ты хочешь, как-никак самая глубокая могила.

— Что?

— Да эт я так.

Внизу стоял на рельсах подземный почти игрушечный поезд. Маленький остроносый машинист восседал в своем кресле, словно король троллей. На расстоянии его вытянутой руки тускло блестели электрические провода и уходили в сторону преисподней. В электровозе, как в тракторах 30-х годов, отсутствовала кабина.

— А что же у вас и локомотивное депо есть? — попытался завязать я с ним узкопрофессиональный разговор.

— Имеется, — важно сказал король троллей.

— И составители поездов?

— Конечно, — глянул он на меня юркими глазками.

— Какова же протяженность этих железных дорог?

— Пять тысяч километров, — невозмутимо ответил король.

— Вероятно, вы хотели сказать, пять сотен километров? — настаивал на точности я.

Король троллей в кривой ухмылке дернул щекой и погудел.

Он был исполнен величия настоящего космонавта.

Согнувшись в три погибели, я протиснулся в вагон. Мастер Буданов берег мне место. Двери в вагон были похожи на ставни на деревенских домах, их следует закрывать вручную, на щеколду. Вагон тут же погружался во тьму. И только в узкую щель видны были тени

от зеленого фонаря, чьи-то притопывающие пыльные сапоги. И пошел поезд, пошел.

Так в темноте мы проехали восемь станций. На некоторых входили люди, на некоторых выходили. Совсем как в настоящих поездах.

Мастер дернул меня за рукав: — Наша.

Мы вышли и помедлили, дожидаясь кого-то с долотом.

— Долото-то взял? — спросил мастер этого кого-то.

— Взял, — басовито ответили ему.

— Это хорошо, что ты долото взял.

«Наверное, воздуха мало», – подумал я об этих сомнамбулических диалогах.

Мы двинулись гуськом. Пересекли ручей и долго углублялись в неосвещенную пещеру, выбирая себе путь тугими лучами налобных фонариков.

— Сергей, — поинтересовался я, — правда, что ли, мы на глубине восемьсот метров?

— Если быть точным, восемьсот семьдесят.

Я замолчал, шел в спину ему. Пытался представить весь этот слой, состоящий на четверть из вечной мерзлоты. Людей, которые ходят там, наверху, греются чаем в кафе, ведут разговоры, а в Москве вообще тепло и снега нет. Я пытался представить это, и за спину меня щипали. В лицо дул мертвый, отдающий пылью после дождя, ветер.

— Не дай Бог, конечно, — осторожно сказал я. — А вот если где-то ход обрушится, сколько здесь можно куковать?

— Вечность, — сказал Сергей и выдержал паузу. — Да не ссы ты, с безопасностью все в норме. Как-никак самая ударная комсомольская шахта была. Умы тут работали — будь здоров. Советский премьер Алексей Косыгин мечтал создать здесь, как в инкубаторе, особую породу людей. А потом надоело, Норильск ведь хотели даже оставить, бросить весь построенный город. Обнаруженные ископаемые быстро закончились. Правда, тут как раз геологи и нашли такие залежи золота и никеля, что лет еще на пятьдесят хватит.

— А что потом?

— Че ты пристал. Потом еще найдем.

Мы наконец вышли на освещенное просторное место. Там стояло несколько тягачей, похожих на какие-то инопланетные машины, и штук пять таких же бульдозеров. В одном из экскаваторов с зажженными фонарями на касках копошились мужики.

Со всеми мы поздоровались за руку. Даже с теми, которые были в обложенных кафельной плиткой ремонтных ямах. Потом заглянули

в мастерскую, где токарные станки, фреза и с щербинкой старый-старый чайник. Мужики добавляли в алюминиевые кружки с заваркой тягучее сгущенное молоко прямо из проткнутой отверткой банки.

— Вова, — крикнул мастер одному из них, — ну че, рванули?

— Ага, — хлебнув на ходу из кружки кипяток, напялил каску тот.

Еще одной пещерой мы прошли к тягачу с тележкой. Над тележкой имелась крыша, а внутри — череда скамеек поперек. И тронулись, ехали, то спускаясь, то поднимаясь. Это было самое настоящее подземное государство. С указателями, с ответвлениями, перекрестками и знаками, помечающими главную и второстепенные дороги.

Мы доставили в бригаду взрывателей кабель и отъехали в укрытия.

Текла вода, работал трансформатор. Минут через десять далеко и гулко грянул взрыв. Потом до нас поверху дошло облако пыли, и мы пережидали его в противогазах. Говорить было бесполезно. Когда все улетучилось, осело где-то, Сергей дал указание своим бульдозеристам. Они подъехали к обрушенной руде и стали толкать, ссыпать исполинские глыбы в огромные черные дыры.

— А там что?

— Ад, — коротко ответил Сергей и улыбнулся.

Вытянув шею, я заглянул в нутро. Транспортеры тащили наверх ссыпаемую в эти дыры руду, переваливали затем на другой транспортер, тот еще выше, и так далее до медеплавильных цехов, где эту руду «варят», отделяя от нее собственно медь, никель, кобальт, золото и платину.

Часа четыре еще мы колесили по царству подземных дорог, фары тягача выхватывали различные надписи на стенах, ориентиры.

На одной из остановок, где меняли водяной компрессор, шофер Вова закурил и сказал:

— А Серегу на прошлой неделе такой рудой завалило. Только взорвали, вроде проверили все, нависаний нет. Он стал работать, а одна глыба не шла в дыру. Он прыг в гредер, жахнул по ней, а со стены камнепад.

— И что?

— А чего, ничего. Серега еще грейдером умудрился мужиков заслонить. А сам нырнул щучкой в пространство между кабиной и педалями. Кабина, само собой, всмятку. Мы думали, его и живого-то нет. Пока резак нашли, пока то-се. И вдруг он оттуда, из-под камней, запел. Ага, там прям лежит и басит.

— Хорош трепаться, — сказал Сергей. — Поехали.

И опять мотались по «улицам» подземелья, кому-то поменяли муфту, кому-то подвезли горючего.

Потом, когда сдали все и вышли из душа, Сергей сказал:

— У нас-то тут еще ничего.

А вот в медеплавильных цехах, там ад настоящий. Жара, пекло, огромные ковши с расплавленной медью над башкой вечно летают. Пары свинца, ртути. Там мужики, как гуманоиды ходят. Изо рта шланг торчит, иначе надышишься, коньки отбросишь, а в другом уголке рта частенько — сигарета.

— Во как раз щас выброс оттуда, — сказал Сергей, когда мы шли от проходной к автобусу. — Чуешь?

Я чуял, потому что слезы текли по щекам, сердце стучало прямо в горле.

— Это нормально, — констатировал бригадир. — Месяца через два привыкнешь. Сернистый газ. Поражает легкие, печень. Убивает активные клетки крови. Я вот думал, три года отработаю здесь и домой махну, в Сочи. Думал, я круче всех. Здесь ведь все так думали. Меня-то это не затянет. А потом женился, дети. Квартиру дали. И понеслось. Зима, короткое лето, зима.

— Так всегда же можно открыть дверь и выйти.

Он посмотрел на меня:

— Понимаешь, я там, на «материке», сдохну теперь. Пятнадцать лет здесь ошиваюсь. Из-за разряженного заполярного воздуха сердца у нас тут увеличиваются. Во такие, — он показал внушительный кулак, — бычьи становятся. Но ниче. В шахте целый день проколупаешься, потом вылезаешь наверх и… кайф. Все любишь, дурацкие эти трубы, цветной снег, вечную мерзлоту.

Условные тротуары Норильска в роскошных сугробах отмечены веревками, которые колышет ветер. За них нужно держаться в черную пургу, чтоб не сбиться с пути. Люди идут, будто из пучины тянут сети.

В такие дни аэропорт по имени «счастье» закрыт до лучших времен. Никто не знает, сколько продлится эта пурга, может, день, может, неделю. И я двое суток маюсь в гостинице, читаю местную прессу и вдруг обнаруживаю, что самое вопиющее преступление тут — квартирная кража. Что в Норильске напрочь отсутствует такой социальный элемент, как бомжи. А в такой-то печи допущен выход расплава в цех — 200 тонн. Но под конец дня второго это заточение становится тягостным, да и денег на телефоне в минусе. Как-то надо сообщить в Москву, что меня не задрал полярный волк, и не завалило в шахте. Я выхожу, лезу по «барханам». Салон находится минут через

тридцать блужданий. А там девушка нездешней совсем наружности, в желтой майке с названием фирмы. Оторопь берет.

— Чай, кофе, виски? – улыбается она.- Это еще мало баллов. — Прошлой зимой такая метель была, что у нас с вечеринки один парень пошел в соседний подъезд за коньяком и заблудился. Три часа путешествовал.

Дурак бы отказался от чая, да и делать было нечего. Девушка жила недалеко, не мог же я ее не проводить.

А потом случилось вот что. Девушка Света вышла на проезжую часть и, помахивая карманным фонариком, остановила КамАЗ с гредером. Они сновали по улицам в фонарях, расчищая дорогу.

Я даже не успел поблагодарить,сказать на прощанье что-то, она будто в сугроб обернулась, исчезла.

— Садись, садись, — лыбился из теплой кабины дядька. — Тебе куда?

Мы мчали с ним по снежному городу, как по ущелью.

В едва проглядываемых сквозь пелену окнах горели огни.

— Да-а, — протянул он. — Припорошило.Новый год скоро. А там уж и время побежит с горы.

Ночью зазвонил телефон, горничная сообщила, что пурга, наконец улеглась, часа через четыре-пять расчистят дороги и взлетку. Можно собираться.

Я пришел к ней за кипятком, чтоб залить порошок кофе. Вышел на крыльцо с чашкой, темно было еще совсем. Город спал. Но ветер не прекращался. Я почувствовал, как замерзают на ресницах слезы. И как одновременно смешно и больно закрывать глаза с колючими льдинками.

В октябре...

Она ушла утром, когда за окном в тумане падали листья. И ничего больше не осталось у меня. Только грусть, исходящая от осенних полей, курево и вид ночного города.

Я пил на кухне привезенный из командировки самогон и чего-то ждал. Ждал, что она вернется, что ли. Просто забудет чего-то и вернется. Как когда-то забыла под подушкой бюстгальтер, который я нечаянно вытряхнул из простыни на балконе. Он полетел, зацепился за чью-то антенну... Да так и реял, как флаг необузданной любви, которая бросалась в глаза даже из окошка троллейбуса. Но теперь все ушло.

Три вечера я ставил телефон возле тахты... Раньше она часто звонила по ночам. Проснешься порой часа в два от предчувствия какой-то неминуемой, щенячьей радости – и тут же звонок...

В этот раз звонил только Овчинников. У него тоже была привычка будить заполночь и удивленно спрашивать:

— Ты спишь, штоль?

— Нет, – говорил я.

— А че делаешь?

— Жду, когда ты позвонишь.

— Че такой грустный?

— Осень.

— А-а. Эстет, бля.

— Ну, епт.

— Я тут хокку написал,- говорил Леша в трубку. – Слушай. С Ворсобиным был разговор. Философией там и не пахло. Умерла через час бутылка…

Утром была редакция, разговоры... Фотограф Кунаев привел какого-то поэта. – Вот, – сказал он. – Друг теплохода Михаила Светлова.

Кого только не притаскивал он в редакцию. Бесчисленных «знакомых» Высоцкого, «собутыльников» Венидикта Ерофеева. Человек начинал чего-то рассказывать. Кунаев в это время делал вид, что возится с фотоаппаратом. Он заранее выдумывал ему какую-нибудь легенду с деталями, с невероятными историями. Но тот где-то спотыкался, терял нить рассказа и говорил:

— Николаич, че вые….ться?

И, обращаясь ко мне:

— Товарищ, одолжи полтинник до понедельника.

Я вытаскивал из кармана бумажку, и они удалялись.

На сей раз, я думал, будет то же самое.

Познакомился Кунаев с поэтом на остановке. Фотограф ждал троллейбус. Подошел человек в белом плаще до пят. На мгновение их взгляды встретились.

— Пошли, – икнул фотограф.

— Пошли, – подмигнул поэт.

Весь вечер они потом сидели в кабаке. Поэт читал оду старинному портвейну. Фотограф вяло поддакивал.

— Вот я и говорю... Пить надо меньше. Упал – хватит.

Через час разговоров в редакции, Семенов и не думал уходить. Он улыбался корректоршам, утирал борцовскую шею носовым платком и гремел стихами.

«О ладонь бьются груди, как лебеди…»

— Не хотите стихов, – вопил он в сторону едких критикесс, брезгливо морщащих носы. – Тогда, пожалуй, спою.

Гитара у нас была. Частенько мы сидели на подоконнике, свесив ноги на улицу, и орали что-то вроде «Когда я подохну с тоски по тебе».

Семенов кашлянул и запел:

У меня для тебя каждый день новости,

У меня для тебя ежедневно новый стих,

Музыка звучала, рифмы в ночь лились,

А у тебя для меня сигаретки кончились.

Потом я брал у него интервью. Он рассказывал про то, как работал в Харьковской филармонии. Объявлял номера. Как встретил однажды уже угасающего Светлова. Семенов тогда пописывал стишки, печатался в районной газете и везде носил с собой замусоленную тетрадь. Достав ее из-за пояса, он хотел, было направиться к поэту. Но тут, задыхаясь от трепета, подбежала к нему девушка. Уставший и изрядно поддавший мэтр, морщился от этих восторгов и вдруг как заорет: «Почитай сначала Гоголя, дура». Девушка всхлипнула и убежала.

«А тебе чего?» – гаркнул на Семенова великий старец. Семенов спрятал тетрадку за пояс. Светлов налил стакан водки: «Я в твои годы бутылку между делом мог выпить».

Так молодой поэт получил благословение мэтра.

Рассказывал о том, как снимался в фильме про любовь. Как выиграл в Ялте дом в карты. Как потом его посадили. Как ставил спектакль в тюрьме. И много еще чего. А потом он ушел.

Я сбегал вниз за пивом и стал расшифровывать запись. Раздался звонок:

— Зайти можешь?- гремел в трубку Семенов. – Я кой-че забыл рассказать. Да... и захвати водки. Закуска имеется.

Я поднялся на шестой этаж гостиницы «Россия». Закуской оказалось вялое яблоко и окаменевшая вобла с прищуренным глазом. Семенов достал с подоконника дареную ему кем-то матрешку, не раздумывая, отвернул ей бошку, налил и сказал:

— За спасение душ наших ебаных.

Потом мы бродили по улицам. Помню, лезла паутина в лицо. Пронзительно бирюзовое небо висело над городом, пахло дымом от листвы. А в прорехе между домами тлел и тлел, все никак не мог погаснуть алый закат.

Походя, на остановках Семенов знакомился с дамами. Черт его знает, чего он им там плел, но почти все черкали ему адреса на каких-то обрывках и пачках от сигарет. Он тут же писал на другой стороне этих обрывков строчки. Некоторые со словами «годится» совал в карман, а некоторые, сказав «х..ня», выбрасывал. А потом он исчез.

Ночью я ехал из редакции на велосипеде. Попала штанина под цепь. Я остановился. Сел на тротуар, извлекая материю, и услышал голос:

— Подвезете? – спросила девушка, и не думая садиться.

— Садитесь, – сказал я, и не думая везти.

Девушка села на раму.

Было еще пиво. Костер во дворе. А дальше? Не помню я, что было дальше.

Потом было утро. Я потянулся к будильнику, уронил на пол диктофон. Он зашипел, и я услышал чей-то голос.

— В России любовь всегда трагична. Да взять хоть вон народные песни: она любит его, а у него, мудака, – другая. И виноваты во всем этом бесконечные версты и больное наше воображение, – распинался какой-то мужик, наверное, дворник.

— Встретился, было, человек и на какой-то миг показалось, что он единственный и навсегда. Но, сука, опять ведь привыкнешь, заноет сердечко-то, обледенеет душа. И опять вернется томительное ожидание, что вон там, за окном поезда, у зеленого огонька, уж точно твое. Здесь бы и сойти. Да по сугробам, напрямик. И жить в вечных снегах да в благодати Божьей. Но и это, блядь, как потом окажется – тоже не то. И вечная, непроходящая вероятность того, что твое тебе еще не встретилось. Но ведь где-то же должно быть оно, это е…ое счастье!?

Тут диктофон затрещал, и послышался записанный перед этим голос Семенова:

…У меня для тебя дорогой ресторан,
Жареная курица, пива стакан,
Отблески свечей на хрустальной посуде,
А у тебя для меня – хрен на блюде.
У меня для тебя тропинка и лес.
У тебя от меня кот на дерево влез,
Я его сниму первым же выстрелом,
Несмотря на то, что очень быстр он.

Вечер у Эммы

Эмма Винд никогда не смотрит в окно. Приехать к ней сюда, в Жигулевские горы, просто некому. Зайти – тоже. Ржавый почтовый ящик на калитке занесло скукоженными от зноя березовыми листьями. В ее речи преобладает прошедшее время. В глазах – задумчивость. Все, что осталось у Эммы от былого – железный ящик с несколькими пластинками, шесть писем, перевязанных ворсистым шпагатом да пять пудов воспоминаний.

В бревенчатой избе с каплями накрапывающего по стеклу дождя Эмма гостеприимно кипятит чайник и с немецким так до конца и не исчезнувшим акцентом говорит:

— Зачем вам это нужно? Все это умерло давно, прошло…

Но я не уходил. Я наносил во флягу воды из колодца.

В те дни с палаткой и спальником я путешествовал на велосипеде по заволжским долинам, попал под дождь, спросил у пастуха, где можно обсушиться. И он указал на дом Эммы.

— Она любовницей у Гитлера была, – сказал он, надвинув на глаза капюшон брезентового плаща. – Мы ей дустом помидоры посыпали, – шепотом произнес пастух. – А она живехонька, падла.

Дождь кончился, одежда моя обсохла, воздух был мокрым и тяжелым. Мы пили чай с липовым цветом, и я выпытывал у нее подробности.

В старом городе Мюнхене она когда-то работала в типографии. Читать словари и набирать в ящички литеры нравилось ей. Из текстов слагались целые судьбы, затем сваливались в емкость и переплавлялись в новые строчки. Жизнь казалась податливой, как свинец.

Однажды в типографию заглянул человек со взглядом, как формулирует Эмма, испуганного кролика. Он подошел к ней и, дико смущаясь, сквозь шум спросил, не поможет ли она ему подобрать шрифт на афишу для выставки. Эмма оформила бумаги и набрала крупным кеглем: Адольф Шиккельгрубер. Первая персональная выставка. Этот человек, потом несколько раз захаживал в типографию. Искал встречи с Эммой, но она его сторонилась.

— Почему? – интересуюсь я.

— Трудно объяснить, – говорит Эмма, помешивая ложечкой уже остывший чай. – Вроде бы человек, как человек. Галантный, с блеском в глазах. Но блеск был какой-то… несчастный, что ли. Таким с дамами не везет. – Что-то не складывается, не тянет к нему, а наоборот… Я быстро забыла о нем. Но когда увидела много позже на площади,

дурно сделалось. Он уже увлекал за собой массы, держался уверенно, и приветствовали его уже «Хайль, Гитлер!», но глаза… Они оставались прежними.

Эмма продолжала работать в типографии. Тогда, говорит она, никто еще не готовился к войне. Во всяком случае, обыватель не думал и не знал об этом. Как-то, гуляя по мостовой, она встретила высокого мужчину, напевающего себе под нос странную песенку. Мотив до того понравился ей, что она не удержалась и спросила, откуда такая мелодия? Мужчина ответил, что это русская песня «Вдоль по улице метелица метет». Разговорились. И хотя он был старше ее лет на двадцать, она не почувствовала этой разницы. Было в нем некое сочетание благородства, бесшабашности и куража. Это был профессор Московского университета Максимов. Он рассказывал ей о русской литературе на чистом немецком, тут же переводил Блока, Есенина, Маяковского. Но Эмма и сама читала тех поэтов в оригинале (ее бабушка часто бывала в этой странной, но по ее мнению необъяснимо притягательной стране). Они встречались. Максимов мог изрядно выпить и положить в тире все выстрелы в «яблочко». Эмма и сама лихо стреляла. Порой их дуэль затягивалась до кромешной ночи. Он провожал ее до подъезда. Коротенькое платьице в горошек, озорные глаза да ямочка на правой щеке – такая была Эмма в те годы. Однажды у подъезда Максимов будто споткнулся и резко шагнул к ней.

— О, – вспоминает Эмма, чуть смущаясь, – это был во всех смыслах крепкий поцелуй. Например, как бутылка хорошего шнапса, – улыбается она. На следующий день Максимов уезжал, Эмма пришла проводить его на вокзал. Уже и паровоз в томлении заныл, и множество ладоней взметнулось вверх...

Неожиданно для себя Эмма вскочила на подножку и уехала в Россию.

Москва Эмме сперва не понравилась. Грязно было в Москве. Даже в типографию многотиражки, куда ее через некоторое время устроил Максимов, нужно было ходить в калошах. Вскоре Максимов как-то странно умер, и девушка осталась одна.

Она теребит исхудалыми руками единственную фотокарточку композитора Варламова. С ним Эмма встретилась в середине 30-х. Она любила бывать на Патриарших прудах. Варламов тоже. Как-то они оказались рядом. И, глядя на закат, Варламов сказал: «Завтра будет ведро. Давайте кататься на лодке». «Завтра будет дождь», – ответила Эмма. Откуда ему было знать, что она работала в Бюро погоды на Красной площади.

И вот зимним вечером у подъезда Эммы остановился извозчик. Звякнул колокольчик. Усталые женские руки развернули холодную с мороза бумагу. Строчки посвящались ей. Затем Варламов не раз исполнял этот романс на рояле. Впрочем, не только этот. Среди различных его творений Эмма услышала напев, который некогда напевал профессор Максимов. «Ты постой, пост-о-о-о-ой, красавица моя. Дай мне наглядеться, радость, на тебя!»

— Да, да, – говорила она тогда. – Я это слышала там, где дом.

— Это вряд ли, – усмехался музыкант. – Эту песню написал мой дед. Давно. Там,- махнул он рукой, – где дом.

Вскоре Эмма перебралась в квартиру Варламова.

Частенько на огонек их арочных окон захаживал чаевничать Лемешев. Сейчас Эмма вспоминает, что выпивали по два ведерных самовара за вечер. Лемешев любил филологию. Копаться в языке нравилось ему. Он считал, что русский невозможен без мата. Учил Эмму многим выражениям. Она недоумевала и никак не могла взять в толк, что означают выражения «бляха-муха» и «с гулькин хрен». И вообще, кто такой этот гулька? Лемешев умилялся.

Затем был этап, отвратительная еда, зовущаяся баландой, мелодии в колючей проволоке.

— Варламов давно был на заметке ГПУ. Часто восхищался некоторыми джазовыми композициями. Говорил, что джаз – это настоящее, в нем намешено все. К тому времени (началу 40-х) он был руководителем первого Государственного джаз-оркестра Союза ССР, директором Всесоюзной студии эстрадного искусства и организатором джазового ансамбля с преобладанием смычковых инструментов «Мелоди-оркестр».

— Арестовали нас вечером, когда мы собирались ужинать.

— И что вам вменили?

— Была такая история. Ученик Варламова, пианист, в прошлом член музыкального запасного полка отстал от эшелона. Задержался у девушки и отстал. Его отправили в комендатуру, там давили, унижали, хотели отдать под трибунал. Он испугался, забаррикадировался у себя в квартире, жил там в шкафу. Варламов, узнав об этом, тайком носил ему ноты. Пластинки Вертинского для старенького патефона. Он хотел с кем-то поговорить, чтоб устроить пианиста, очень хорошего, как говорил композитор, пианиста. Но не успел.

Им вменили пособничество дезертиру.

— Но даже там, – говорит Эмма, – в тюрьме Варламов писал музыку. Однажды он попросил надзирателя принести ему в камеру лакированные башмаки, желтую манишку и нотную тетрадь. Удивительно, но надзиратель все исполнил в точности. Хотя кара за такое была известной. Толпа в красных погонах собралась у глазка одиночки. Варламов ходил возле нар, отстукивал башмаками ритм и что-то заносил в тетрадь.

— Музыка ложилась на сердце, как первый снег на степь, – смущаясь своей нахлынувшей поэтичности, говорит она. Александр будто жил в параллельной реальности. Многие свои лучшие вещи он написал на зоне.

Им дали по 8 лет. Его отправили в Ивдельлаг. Ее – этапом до Магадана.

— Я когда-то мечтала Россию посмотреть, Сибирь увидеть, тундру. Вот, – улыбается она, – удалось. Мы сидели там, в одной камере с женой печально известного генерала Власова. Но даже в тюрьме та не переставала писать бисерным почерком мужу бесконечные письма на обратной стороне библиотечных формуляров, которые тут же рвала.

— А как там к вам относились?

Она улыбается.

— На зоне нормально относились. Потом было всякое. Но я понимала тех людей.

Оттрубив от звонка до звонка, она долгое время скиталась по различным городам. Валила лес в Мордовии. Куда она еще была годна? Варламов после тюрьмы поселился в Казахстане, поскольку в Москву въезд ему был закрыт. Эмме писал, чтоб ехала в Самару, к его знакомым. Она тогда так и сделала. А некоторое время спустя, уехала в Жигулевские горы. Работала прачкой в местной психушке, где когда-то тоже была тюрьма, знаменитая своими каторжниками. Долгое время там сидела эсерка Каплан, стрелявшая в Ленина.

— Руки до сих пор сморщенные, – опять улыбается она.

...С Варламовым они больше не встретятся. Эмма напишет, что вышла замуж. Хотя все эти годы будет одна-одинешенька. Варламов затем вернется в Москву. Будет писать музыку к различным фильмам. Выпустит несколько пластинок. И умрет в 90-м. На его похоронах будет звучать музыка, посвященная ей.

А потом здесь, в Жигулевских горах, где в облака уходят тропинки, и звезды можно протирать тряпочкой, умрет и она. Но не сейчас.

Сейчас Эмма идет в комнату, где за ней наблюдает с портрета поэт Блок. Выносит железный ящик и откидывает вуаль со старого

проигрывателя с металлической летящей чайкой в уголке. На дне ящика лежат семь винилов в старинных картонных конвертах. На самой верхней этикетке – негр в полосатой шапочке и надпись «Round about midnight. Warner Bros. Inc. 1944».

Пластинка тяжелая и чистая, извлеченная из конверта, она пускает на потолок несколько бликов, как вода. Зашипела под иглой, полилась музыка. Потом мы слушали Соленые орешки» Диззи Гиллеспи, «Ночь в Тунисе», «Орнитологию» и «Леди Берд». В паузах было слышно, как лают у реки собаки, как кричит где-то петух.

— А вот эта моя любимая, – сказала Эмма. Слегка подула на пластинку, на ней медленно растаяло пятно от дыхания и зазвучало «Вдоль по улице метелица метет». И хотя было жарко, по спине почему-то бежали холодные мурашки. Эмма была счастлива. Лицо ее светилось. Она как будто помолодела лет на тридцать.

Под вечер я покинул ее дом. Она стояла у калитки, сутулая, но улыбающаяся Я вез велосипед за руль и шагал к пристани.

— Ну, че? Рассказал она тебе, как под Гитлером была? – тупо лыбился пастух. Я прошел мимо. Колеса набрали раненых листьев, до осени было еще далеко. У пристани лежал пятнистый маленький теленок с колокольчиком на шее. Когда теленок поднимал голову, колокольчик на нем звенел.

Волчьи мотивы

Неким теплым месяцем мы, несколько заполошных придурков, сплавлялись по среднерусской реке Суре на байдарках. И заблудились. Угодили в неучтенный картой рукав. Спросить, куда ж нам плыть, было не у кого. Лес сплошной стеной подступал прямо к берегу, обрушивался, подмытый, пиками сосен в реку, преграждал путь. Как вдруг мужик. В лодке, со спиннингом, и окунями, размером с пятерню совсем не креативного класса. В тот день мы остались у него на постой.

В доме было много книг и журналов, где превалировали издания о путешествиях. В набухших папках трескались черно-белые фотографии нездешних мест. На гвозде в сенях висела ковбойская шляпа. А перед входом на фронтоне, аккурат под крылечным навесом домиком, черными буквами древних римлян было выведено, что жизнь – это всего лишь долгая дорога. «Недохиповое какое-то пацанство», – веселился я.

С тех пор время от времени я заезжал к нему провести пару несуетных на лоне пасторали дней. Он научил строить нодью (костер из бревен), разложив которую, не окочуришься ночью в зимнем лесу, оборудовать шалаши на деревьях и многим другим полезным вещам.

Он не выпендривался. Иногда рассказывал о себе, но так – кусками. Это была тривиальная биография советского идеалиста. В 60-е тайком от отца, знаменитого волчатника, Дураев завербовался лаборантом на ледокол «Леваневский». Ледокол прокладывал тропы во льдах Белого моря, открывая путь зверобойным шхунам. Зверобои били тюленей и бельков, обеспечивая родину шкурой и брусками мыла, которое шло под маркировкой «Хозяйственное». Шкуры с животных стягивали, Дураев изучал строение их черепов и мышечных тканей.

Когда шхуна издавала гудок, бельки, глупые (детеныши тюленей) бежали спасаться к воде. Там-то их и били багром по башке. Бьют, а у него глаза большие, с длинными ресницами, и плачет, как ребенок.

Бывало, забавы ради забойщики снимали шкуры с живых еще бельков. Куражились, наблюдали, сколько протянет. Тогда он выходил махаться. Как-никак имел значок и замызганную книжечку боксера-перворазрядника.

Смерти все среди забойщиков, говорит он, возникали от невменяемости и человеческой дикости. Обычно добытчиков не

выпускали на лед без длинных шестов. И когда кто-то вдруг проваливался в торос, он нахлобучивал на конец шеста ушанку и подымал. Со шхуны дежурный матрос замечал это и к идиоту этому высылали помощь. Частенько поднятые ушанки были не более, чем простой провокацией. Они даже устанавливали своего рода очередность, кто после кого «проваливается». Ведь охотнику и тому, кто его потом из воды вызволит, полагалось для сугреву по 50 граммов спирта. А матросу – шиш. И это было обидно. Матросы халтурили. А когда и в самом деле кто-то проваливался, то – хы-ы, помощи было ждать просто неоткуда.

В папках его хранятся мутные фото, где он с двумя ружьями у подножья каких-то сопок. После Белого моря он несколько зим добывал пушнину где-то в Подкаменной Тунгуске. Из шкур юрких песцов потом делались манто и шубки для барышень, пускающих вверх струи дыма из длинных сигарет в мундштуках, и все это непременно на глазах у какого-нибудь мэна, в ресторане с речным названием. Допустим Нева. Мэн тоже закуривал и они долго и молча, каждый со своего столика, целовались дымами. Ну, и дальше по заведенному не нами, а человеческими слабостями, плану.

— И вот, ты один там …всю зиму? – донимал его я.

— Почему один? С собаками. В тех поселках у эвенков как. Бабу увел другой – ну, и черт с ней. Собаку украдут – вертолет поднимали. Без собаки там никак. А вообще, – закуривал он, – человек там реально дичает. Путем испытаний на себе, я выявил три стадии этого. Первая – это когда начинаешь говорить сам с собой на полном серьезе. А вторая, это уже ближе к весне, когда просыпаешься ночью, берешь гвоздодер и отрываешь половицы в зимовье, чтоб обнаружить там завалящийся папиросный бычок.

Затем была монгольская пустыня Гоби. Под эгидой нешуточной организации ЮНЕСКО он с несколькими учеными различных стран Старого Света создавал там заповедник.

— Условия были блаженные. Несколько газиков 66-х с цистернами пресной воды. Поэтому мы могли прокладывать маршрут, где угодно. Там, где, возможно, еще и не было до того человека. Ведь Пржевальский, другие исследователи, были привязаны к оазисам, держались их. Тем самым нам удалось обнаружить несколько до того неизвестных науке видов медведей, верблюдов.

— А сюда чего вернулся?

— К отцу. В 87-м. Он в каждом письме крыл меня, потом винился, потом внуков хотел, и, в конце концов, уже рукой махнул.

* * *

— Тцык-тцык-тцык, – уплелся поезд по морозцу, исчезли в хмари его огоньки. У крайнего двора меня деликатно облаяла собачья парочка. Встретил незаслуженными аплодисментами кемаривший петух. Я пришел.

За тот год, что не виделись, в стане Дураева произошли вполне себе ощутимые перемены. Он отправил в Москву на учебу дочь, диковинную амазонку, которую натаскал в стрельбе, установке палаток, джигитовке. Купил дом жене в соседнем селе.

— Да, понимаешь, утром просыпаюсь – она. Днем прихожу – опять, – угловато как-то пояснял он. – Сплошные штампы. Есть своя дурацкая телега, как надо. А если эта телега вдруг свернула не на проторенную дорогу – звездец, ты меня не любишь.

— Хе-хе, – говорит дед Куторкин, гостящий у него третий день. – А сам в район, к училке одной шастал. Морду набил ее хахалю. Еле откочали. Хотел на Иваныча заявление писать.

Иваныч сопит.

— Дед, я уж в том возрасте, когда вся эта любовь переходит в состояние как бы сказать платоническое. И переход этот, бляха-муха, не менее тяжек, чем переход Суворова через Альпы. С одной стороны – французские стрелки. С другой – скользко и невозможно остановится, летишь с горы. Хочется лететь, перехватывать дух, но ты ведь давно уже знаешь об опасности этих полетов.

Дед подвалил себе еще сахару в чай, прихлебнул с шумом.

— Оказывается, как тяжело с тобой, Иваныч, – покачал кудлатой башкой. – Вот гляжу на тебя порой и думаю, все ж дикий ты человек. Хотя – согласен, живешь, и все время кажется, не так и не с теми. Но ведь между нами говоря, ни у одной нет поперек, у всех вдоль, – зашелся он козлиным хохотком.

— А ты экстремист, дядь Коль, – заулыбался Дураев.

— А то, – вскинул старик бороденку. Мы с батьком твоим, знаешь как, бывало, дело ярились. Хотя не об этом щас… Я все туда же, пока ты тут чаи бухаешь, почтальонша говорит, у Нюры Кучиной собаку прямо с будкой утащили. Будку на задах нашли, собаку – у леса, дохлую всю.

— Породистая? – поинтересовался я.

— Ризеншнауцер, бля, – звонко хлюпнув кипятком из кружки, всполошился дед. – Ты во грех-то зачем пожилого идиота вводишь? Дело-то совсем не в том. – Волки задолбали. В этом году, такое ощущение, стаи три тут рыскает. Лет уж шестьдесят не было. Ну, как

вон Иван отец его дом здесь срубил, потом сам охотился. А тут они прямо к деревне подходить стали. То ягненка утащат, у Феди индюка из сарая увели.

— И жирафа, – с ухмылкой продолжил Дураев. –Откуда у твоего Феди индюк?

— А на прошлой неделе дети шли из школы, а два переярка так рядышком вдоль посадок семенят. Те-то сначала подумали, собаки. Но потом Димка Михеев всмотрелся, да не, не собаки это. Девки в слезы, а он хоть и малой, бестолковый двоишник, сообразил, фонариком стал на них светить. Они отбегут чуть в сторонку, сядут. Но совсем не уходят. Вот мы и канючим у Иваныча, чтоб застрелил.

— А он?

— Он. Он долго больно запрягает. Все чего-то ходит по холмам, думает.

К вечеру Дураев уехал на своей «Ниве» как он выразился дежурить, мы с дедом остались домовничать. Я чистил снег, носил поленья, звенящие от стыни, точно селикатный кирпич. Старик готовил какое-то мудреное блюдо в печке, орудовал ухватом. Обжигался, хватался за ухо и зачем-то скакал на одной ноге. Тепло было и из чугуна шлепало.

— Ты слыхал, как Иваныч один раз голыми руками волка взял?

— Откуда?

— Серьезно тебе говорю, – оживился дед, как оратор нюхом чующий свободные уши. – Волк он умный ведь, башковитый, да. Бывает, слышь, весь день плутаешь за ним. Уже, как прокурор, все про него знаешь. А возвращаешься домой пустой. Ну, и вот, значит. Зимой дело было. Снег выпал. Волк, как я уже говорил, извини меня, хитрый падла. Ночью-то промышляет, а под утро дрыхнуть идет. Обычно в лесу не ложиться, больно много шумов посторонних. Выберет себе место на опушке где-нибудь. И если его никто не тревожит, так всю зиму туда и возвращается. Место так и называется, лежка. Снег даже форму принимает его тела. И вот чешет Иваныч, как вдруг матерый метрах в пятидесяти морду свою подымает. Из лощинки такой. На него прям в упор глядит. И то ли он слепой совсем был, то ли вымотался за ночь… в общем, опять лег. Ага, думает Иваныч, вон ты где затаился. И поехал тихонько. А главно дело, удачно как было, ветер в рожу ему, с его, то есть, стороны-то дул. И вот когда уже шагов пять всего осталось, он возьми и морду свою подыми. Охотник смекнул: ружье с плеча снять не успеет, и прыгнул прям на ходу с лыж. Он, конечно, обезумел сперва, что это за слон на него свалился. Но потом рычать стал, в руку ему вцепился, ты глянь когда придет, шрам у него тут вот. А вторая-то рука

у него, слышь, свободна. Он ей достал бечевку из кармана и пасть-то ему связал, сомкнул по-русски говоря. И этой же веревкой ноги опутал. Так и приволок живого. На цепь посадил. Тот все кидался, рвал ее, грыз. Но куда там. Этой цепью Иваныч быка трехлетка привязывал, когда они еще со своей-то жили. А на следующий день в охотинспекцию позвонил. Возьмите, говорит. Стыдно ему было признаться, что грохнуть его не может теперь. Волку нельзя в глаза смотреть. Иначе все, жалеть начнешь. А Иваныч поглядел. С тех пор – все, как отрубило.

«Врет, конечно», – думал я про себя. – Но как изящно!» Я одарил деда сигаретой. Приехал Дураев. Вечером сидим у синеющего окошка. Дед ушел к однополчанину через три дома.

— Я и без их индюков все знаю. Три стаи, блин. Че там мелочится. Шесть. У одной деревни.

— А что не так?

— Да даже две стаи перегрызутся тут. Конечно, одна. Я их еще летом засек, за Сурой, у балки. Матерый с драным загривком, волчица, три или четыре переярка и три мощных двухлетка. Но что так близко подходить начнут, не думал. Они, конечно, первые не нападут. Но дети. Могут спровоцировать.

— А кто регулирует популяцию?

— Кто, кто. Закон. Норма численности волка установлена приказом Минприроды Росси от 30.04.2010 г.0,05 особей на тысячу га. Дальше уже охотпользаватель за которым закреплена территория, общедоступные угодья, сам думает. Кроме этого, абы кому охотиться на волка не дадут. Это нужно либо в бригаде облавой, либо с опытным волчатником. Так на бумаге. В действительности же везде по-разному. У нас не было их давно. Тут одна газета увязала приход волков с политической смутой. Мол, всегда так. На самом деле все простой гундеж. Просто нет мотивации у охотников. Да и не каждый охотник его возьмет.

— А раньше? Премии были?

— Они и сейчас вроде как есть. Но столько бардака в их получении. Некоторые убивают волка просто так, случайно попался. Мол, на следующий год дадут бонус. Лицензию на отстрел копытных. Но, сам знаешь, как это делается. Кто ближе к кормушке, тот и...

Бездумное снижение особей в стае (обычно в результате отстрела) запускает иной механизм. Вместе со старшей самкой начинает размножаться одна из молодых.

Если совсем убрать из экосистемы волка, нишу займут бродячие собаки или гибриды волка и собаки. Тогда воевать с такими стаями еще

сложнее. Они опаснее, поскольку собаки не боятся человека, их не пугает огонь свет.

— Во всем нужна мера, – говорит Дураев. – А русская мера, как известно, два ведра.

Три дня я катался на подаренных мне Дураевым лыжах по лесам и перелескам. И что это были за лыжи! Болиды! Он сооружает их всегда сам, колдует над заготовками ясеня, вымачивает в каком-то вонючем вареве, потом загибает через тракторную борону концы, обивает кисой. Норвежцы слюной изошлись бы, если б увидели. Я сигал с холмов, задыхаясь в морозном мареве, наблюдал оленей у кормушки, дятла и даже куницу. Но волков не встретил.

— Хм, – сказал на это охотник люди чаще оказываются ближе к волкам, чем они думают. Я почти уверен, что каждый человек, бродящий по лесу, мог пройти на расстоянии пятидесяти метров от волка и даже не догадывался об этом.

По словам Дураева, у волков, очень развита неофобия (боязнь нового). Но благодаря своему уникальному социуму, они даже способны к изучению. Да, можно, убежать с глаз долой. Но лучше присмотреться, как то или другое явление обратить себе на пользу.

— Китайцы, одним словом.

Губы Дураева скривились в снисходительной улыбке.

— Я не только убивал их. Но и изучал тоже. Однажды вошел в контакт с одной стаей в Монголии. Ходил к ним без оружия. И, в конце концов, они ко мне привыкли. Я оставлял им на тропе мясо, всячески показывая, что не опасен. И вот однажды в одном из распадков случайно наткнулся на медведя. Когда я его заметил, делать что-то уже было поздно. Я не помню толком: закричал или он какие-то звуки издал, волки услышали и бросились. Матерый подошел, ощетинился. Один удар мишки мог бы вспороть брюхо серого от горла до хвоста, но он взял его за пятку, потом остальные подоспели. Тогда я задумался, что такое альтруизм. Дурость или реализация все-таки биологической потребности? Ведь, что будет дальше, об этом зверь не подумал. И тогда я понял: все, что мы имеем, чем гордимся в газетах, – это не мы придумали, это все оттуда идет, – кивнул он на лес за окошком. Хотя, само собой, глупо все очеловечивать, антропоморфизировать, извини за просторечное выражение. Но вот еще интересная деталь. От человека волчат эти звери почти никогда не защищают. Понимают, что лучше остаться производителю, чем всем сгинуть. И это приобретенное, так сказать культура. От любого другого зверя защищают, от рыси, кабана, даже от медведя. Человек –

инопланетянин для них. А может, они для нас, – сощурился он, Иваныч, от «беломорного» дыма.

Только вечером, когда после чая, мы выходили на улицу дышать, от реки доносились их серенады.

Ветра не было, поле за огородом прекращал лес, а над ним, точно забытый фонарь в туннеле, висела луна. Когда с елки срывалась снежная шапка, она падала медленно-медленно, рассыпаясь в пух.

— От канитель какая. Во выводит. Аж до мурашек, – шептал дед. – У тебя мурашки есть? – толкал он меня и убеждаясь, что все в порядке, продолжал.

— Слышь, как милуются. Это у них такие прикосновения. Шашни.

Дураев молчал.

Он еще утром закопал десантный маск-халат в снегу у сосны. Осмотрел патроны.

— Меня-то возьмешь? – спросил я.

— Не желательно, конечно, – усмехнулся он, – но ты ж попрешься. Не убьем – так попугаем.

— А деда?

— Не, он пусть дома, щи варит.

* * *

Все три дня дед спал на печке. Акустика там была отличная. И казалось, это не дед храпит, дракон из Поднебесной приехал.

— Идешь, – тронул меня за рукав уже одетый Дураев.

И дед пробудился.

— Вообще, не сплю на новом месте.

— Ага, только труба чуть не рухнула.

— Да? Может, и забылся на минутку.

Мы напялили валенки и вышли. Холодными были окна, освещенные, как лужи после дождя, уходящей луной. Ни дыма не было, ни лая собак. Мы шли, положив лыжи на плечи.

За околицей встали. И Дураев зашагал классическим ходом, я – в спину ему, след в след. Поначалу было весело даже. Глядеть, как он, пригнувшись, сигает с горок. Как телемарком огибает кустарник, а затем тормозит, исполнив христианию.

Взобравшись по насыпи на шоссе, мы остановились. Тут вдруг охотник упал на колени.

— Скидку сделал. Метра четыре. Не слабо, – бубнил Дураев.

По всему выходило, что ночью матерый подходил к деревне. Поживиться там ничем не удалось. Волчица ждала его, на опушке, где выступающий французской треуголкой лес зализывало снегом поле.

Матерый дошел по большаку до этого места и совершил в сторону умопомрачительный прыжок. Затем попятился задом к волчице.

Уже совсем рассвело. Пейзаж вдалеке казался вязаным. Крупной белой шерстяной нитью. Ударил по сухому стволу дятел. Запели синицы. Елки сменили сосны, далеко раскинувшие свои лапы. Для прохода Дураев отгибал их далеко, а потом нимало не заботясь обо мне отпускал. Лапа хлестал по глазам, а сверху, распадаясь, летел, подсвеченный низким солнцем какой-то даже праздничный снег.

— Зайца взяли, – сообщил Дураев.

Беспорядочное скопление следов поведало ему несколько последних мгновений из жизни русака. Сначала он петлял, как водится, скидывал круги один за другим. Потом решил вернуться к одной из своих петель, однако здесь, под кустом его поджидала волчица. Он повалился на спину и стал обороняться длинными задними ногами. И тут подоспел матерый.

— Значит, сыты, – сказал Дураев, и не понятно было, удовлетворенно или как он это произнес.

В полдень мы вышли к оврагу. Дураев достал из-за пазухи бинокль.

— Стой здесь, – приказал он мне. – Погуляй пока.

И потерялся между стволов.

Стоять истуканом было нелепо. Лицо мерзло, за шиворот сыпалось. И я плюнул на его указания. Съехал с горы и пошел вдоль незамерзшего ручья. Добрался до поворота, осторожно выглянул из-за него, Дураева нигде не было, только вода лепетала в ручье. На верхушках полыни, как бубенчики, раскачивались синицы.

Я шел и шел. Вдруг над головой с вершины оврага раздался свист. Потом крик:

— Беги, беги.

«Какого хрена», думал я. «Кто это? Кому? Зачем?» И тут жахнул, обрушенной крышей посыпался вдоль ручья выстрел. Что-то серое, едва не сшибив с ног, метнулось мимо. Я стоял как вкопанный и ничего не соображал.

Посмотрел на вершину оврага, по насту сползал на боку мертвый волк. Показалась шапка Дураева. Зверь остановился на половине пути, охотник вышел из лыж, съехал на пятой точке, и толкнул его в бок. От волка шел пар. А на другом склоне тоже барахтался человек, лыжи он держал в руках, борода была в снегу. Это был дед Куторкин.

— Дядь Коль, не обижайся, но ты гондон, – только и вымолвил Дураев. Когда он прикуривал, в пальцах его заметен был порядочный тремор.

Волк лежал на боку, под ногами. В еще не остывшем глазу его отразилась пролетевшая птица.

— Иваныч, сам понимаю, что мудила старый. Черт меня дернул заорать.

— Черт тебя дернул пойти, – сразу же еще одну прикурил Дураев. Его колотило.

Покадрово дело было так. Когда мы ушли, дед Куторкин запрыгнул в лыжи, коих у охотника на биатлонную сборную от юношей до мастеров, и шел с нами параллельно. Потом с опушки он заметил вчерашние следы. Оказывается, Дураев уже давно обнаружил эту лежку, и зашагал, но не по ним, а по противоположному склону. Вдруг последний момент, говорит он, у него помутился разум и он засвистел, хотел волка спасти. И тем самым оказался в прямой зоне выстрела. Короче говоря, то, что он сейчас стоял с нами рядом, было чистой случайностью.

Волков было двое, матерый и самка. Дураев хотел поднять их с лежки. По его словам, они бы обязательно спустились в овраг, и шли ручьем. Он с торца планировал обогнуть, и выйти у конца балки. Тогда бы удалось пропустить волчицу вперед, а матерого стрелять. Волчица бы закрутилась, ошалела, и второй выстрел был бы ее.

Но все получилось как есть. Волк ушел.

Отдышавшись, Дураев приготовил жердь, обмотал волчице ноги, и мы потащили ее, как в Африке носят льва. Жалости не было, только пустота и ломота в глазах от переливающихся полей. Дед плелся сзади.

Когда мы шли по деревне, выходили люди, поздравляли.

— У-у, вражина! – издалека негодовала Жданова баба Нюра, у которой этой зимой пара утащила из овчарни ярку. – Зубы-то, зубы. Прям не зубы, а шилья.

Мы останавливались, отдыхали.

— Йех ты, гляньте, она брюхатая, – поджав губы, сказала завфермой Котова Зина.

Волка затащили во двор. Кот ощетинился и не пошел в дом.

Дураев позвонил охотинспектору, и пока не окоченела, стал освежевывать у сарая тушу.

Издалека, от фермы, донесся громкий, не сдерживаемый, смех женщины.

* * *

Под вечер нас с дедом Куторкиным пригласили на день рожденья той самой завфермой.

Вернее, пригласили-то всех, Иваныч не пошел.

— Милок, осаживай, осаживай самогон-то. Запивай кваском, – говорила мне баба Нюра Жданова.

Я осаживал и наливал снова. Тошнило, и тогда я выходил осаживать во двор. Когда прислонившись к шершавой доске, закрывал глаза, там, точно поплавок после первой еще весенней рыбалки, стояла, вернее, лежала на боку эта чертова волчица. И птица, отразившаяся в ее глазу, летела куда-то.

В душной избе тетеньки затягивали несколько раз что-то озорное да разухабистое, но сбивались. Не шло. Потом включили Марину Журавлеву. Пахло салатом оливье, разлитым по клеенке спиртным и квашеной капустой.

Под столом скотник Федя, король доярок, а по совместительству мерзкий рыжий тип, тискал полноватую почтальоншу Нину.

Она мочила краешки губ в стакане, а мокрым взглядом шептала «Давай не здесь. Потом».

Федя скалился, предвкушая.

— Херово одному, дядь Коль, да? – буровил он дуду Куторкину, не вынимая руки из тепла Нининых ног.

— Так и вместе, Федя, бывает, что взвоешь. Жизнь прожить – не вечер пропиздить, – задумчиво сказал, всматриваясь в дно стакана, как в ядро Земли.

— Тебе скоро отъезжать, да?

Дед понял не сразу, помолчал:

— Сегодня чуть не отъехал. Но отпустил начальник. Еще чуток дал погулять.

— Ладно, не думай, дядь Коль, ты и там слесарем будешь.

Куторкин хмыкнул.

— Может ты и прав. Поди, там и лучше? Но ведь никто не позвонит, не расскажет и не напишет…

В ту ночь такое распахнутое и близкое было звездное небо, что мы долго ворочались каждый на своем месте, и никак не могли уснуть.

Волшебник плюшевого города

Утром в Самаре был теплый ливень, мутные реки с сережками тополей несло по дорогам. Потом в прорехе между домами заалело солнце, и город поплыл, как только что нанесенный на лист акварелью. С директором фабрики мягкой игрушки «Бока» Олегом Бакировым мы идем вдоль цехов, перешагивая дома и деревья, отраженные в лужах.

Он то и дело останавливается, говорит с кем-то по телефону, где ключевыми управляющими словами являются жирафы, обезьяны, волки. Молчит, потом снова звонит кому-то.

— Что у нас с котами?

Выслушивает.

И уже в другой мобильник:

— Котов полно. Матроскин, Бумер. Мыши имеются. Мышей не надо? Вовочка зовут. Ну, да, можем вам хоть тыщу отгрузить по железке.

— И как же? — донимаю я его в паузах.

— Что? — недоуменно вскидывает он глаза.

— Ну как все начиналось? Я, как обычно, был не вовремя и совсем некстати. С утра его посещал пожарник, потом еще какие-то органы, а голова директора забита тем, как сделать змею так, чтоб она была похожа на добрую игрушку, а не на финский сервелат.

Бакиров начал свое производство в самые отмороженные годы конца прошлого века. Правда, до того приличный боксер с неожиданным левым хуком, режиссер культмассовых мероприятий, торговал с товарищем спиртными напитками в комке. И буйство своей фантазии проявлял там. Они писали разные, как он формулирует, залепухи. Например, такую: «Говорит Жан-Клод Ван Дамм: за «Агдам» я все отдам». Такой креатив манил за алкоголем людей с другого конца города. Хотя, конечно, не совсем уж и за алкоголем. Там существовал целый клуб по интересам. Музыканты наведывались с гитарами и барабанными установками, устраивали прямо возле ларька импровизированные концерты. Художники, писатели отирались. В общем, это был маленький аналог питерского «Сайгона». Где можно было быть кем угодно. Вытворять, что в башку взбредет. Но главным во всем этом оставалась фраза из Джона Леннона — Life is love (Жизнь есть любовь). Причем любовь к чему, не уточнялось.

— Ну а после уже я стал заниматься поставкой мягких игрушек в Самару. Из Италии, Испании. Дочь как раз подрастала. В то время

игрушек в городе не было вообще. И даже китайская фигня раскупалась с быстротой неимоверной. И вот тогда нам с группой товарищей захотелось делать что-то свое. Ниша-то не занята была, — говорит он. — Можно было денег заработать.

Хотя в подтексте его слов, в паузах отчетливо прочитывается, что не совсем уж и в деньгах было дело.

— Первой сделали розовую пантеру из мультика. Я тогда был и дизайнер, и менеджер. Как ракету изобрели, блин, — улыбается он. Мы заходим в пошивочный цех. В одном крыле женщины ножницами режут по выкройкам пока еще непонятные очертания из шкурок, в другом сшивают части и уже едва угадывается что-то. Ловкое движение и потолстевшая шкурка укладывается в стопку. Одна, другая, третья. Стрекочут машинки, стопки растут. Но пока еще не верится, что из них выйдет на ощупь чтото нежное, почти живое.

— Только мы купили еще оборудование, стали расширять модельный ряд, как вдруг ребятки пришли, — продолжает Бакиров когда переходим из одного цеха в другой. — Стали задавать очень наводящие вопросы. Говорят, охрана есть у вас?

А я им: «Да вон дед сидит на проходной». Бакиров изящно, без напряга включает простака. «Хочешь, мы будем?» — «Да не-е, — тянет он, — мне и деда хватает». «Тогда продукцией придется делиться». — «А хоть всю берите». Они зашли, посмотрели, оторопели на первое время. Как раз тогда серия пошла. Козлы. Они: «Ценного нет, что ли, ничего?» — «Видите, там женщины сидят? — киваю в цех. — «Ну». — «Вот самое ценное — руки их». Между собой советуются, может, машинки, говорят, толкнем? Я стою, плечами пожимаю: «Рукавицы, говорю, неплохие можно шить из них. Лес потом валить». Короче, взяли они себе по козлу и пошли, дурачась, бодая ими друг друга. Заходим в набивочный цех. Игрушки тут наполняют искусственным мехом, привезенным из Белоруссии, Польши. По стенам на проволочках еще какие-то лекала из грубой бумаги, на полочках полиэтиленовые пакеты. Возле каждой ячейки значится что-то вроде: слон — розовый, глаза — голубые. Верблюд Алик, глаза — серые с зеленоватым оттенком.

— А какие-то необычные игрушки делали?

— Много, — говорит он. Женщина у окна размашистыми стежками пришивает на шкурку кота глаза. — Народ у нас с фантазией. Как-то звонит человек, говорит: «Нужно 20 тысяч чаек. Из ситца и меха шиншиллы». Я ошалело говорю: «Зачем?» Он говорит: «Буду спонсировать фестиваль имени Чехова». Больше, правда, так и не позвонил. Может, шиншилл не нашел. Всякие были времена. Помню, в

90-е, когда с деньгами было туго, юмор стал какой-то трансформацией скорби. Стали заказывать свиней. В смысле, нам заказывали. Огромных. В человеческий рост. Очень многие скидывались и почему-то на день рождения друг другу дарили. Раз, было, заказали даже с окрасом под далматинца. И очередь была за этими свиньями страшная. У нас даже тетрадочка велась с названием «свинья» куда, кому и сколько. И вот как-то появился у меня новый клиент в Оренбурге. Прислал заявку: свинья большая — 1 шт. Чебурашка — 3 шт. Я выслал с машиной. Через некоторое время приходит заявка: «Чебурашка — 1 шт. Свинья большая — 7». Я ему звоню, говорю: «Ты ничего не перепутал?» Он орет: «Да ты что! Приезжают ребята на «мерсах», только их и берут. Вышли как-нибудь поездом. Сопровождающего я уже отправил. Купе снял». Ну, думаю, ладно. И вот под вечер такая картина. Подъезжает к вокзалу такси, а оттуда мужики выгружают огромных плюшевых свиней и несут по всему вокзалу на спинах. Загрузили в купе. А пока сопровождающий у меня тут отирался, он себе костюм ежика Сени приобрел (мы уже делали их), набрался по дороге на вокзал, добавил в поезде. Упал в этих свиней и храпит. А тут ночью какой-то дядька такой же датый ошибся дверью. Открыл и обомлел. Все купе заполонено розовыми свиньями от пола до потолка. Потом стали шевелиться, и оттуда ежик вылез. Тот как заорет, чуть инфаркт не схватил. Потом приходил ко мне что-то покупать у нас тут в магазине. И сам же все рассказал. Говорил, что пить после этого бросил.

Несколько котов с глазами лежат на столе. Другие руки их расчесывают. Шкуры, кажется, млеют от удовольствия.

— В общем, много всего шьем. Всевозможные корпоративные игрушки. Телефоны, мячи, символы различных банков. Как-то из одной очень известной партии обратились. Им нужны были пятьдесят тысяч медведей. Сказали, чтоб делали все по высшему разряду. А потом ужиматься стали. Звонят, говорят, мол, денег дали меньше. Ну понятно, как это бывает. Клянчили, давайте подешевле материал. Ну а мы уже все запустили. Я так строго и громко говорю в телефонную трубку:

— Да вы что, на медведях экономите?

Собеседник на том конце просто онемел.

— Что ж вы кричите, — говорит, я в тот момент даже его лицо отчетливо представил, озирающееся. — Оставляем все как есть. Все игрушки у Бакирова с человеческими именами. Обезьяна Айседора. Удав Зиновий, говорит, в честь тестя назвал.

— Как же вам удается с китайцами конкурировать?

Директор улыбается одними глазами.

— Никак. Они раньше от нас не вылезали. Типа для обмена опытом приезжали. Вытаскивает из сумки какую-то игрушку. Смотришь и понять никак не можешь: жираф это или бегемот? Потом более или менее научились. Конкурировать с ними занятие бестолковое. Я же тоже к ним ездил. Они начинают производство, и государство их на пять-шесть лет полностью освобождает от налогов. Потому и себестоимость их игрушки среднего размера, скажем, 5 рублей. Мы ее распороли, сняли. Я говорю девушкам: шейте. Они сшили гораздо лучше, но только за работу я им должен отдать 15-20 рублей. Плюс аренда, всякое другое.

Шкурки в охапках девушек перемещаются к набивочным машинам. Это такие огромные чаны, откуда через шланг под давлением распределяется наполнитель, похожий на вату. Коты, раздуваясь на глазах, обретают внушительный объем. Затем на них напяливают штаны с подтяжками. Загружают на тележки и везут паковать.

Странное дело, но целые вагоны игрушек Бакирова чаще всего уезжают туда, где Китай от России отделяет лишь река. Если перевести с французского, то имя ей будет Любовь. Может, это такая форма проявления протеста против экспансии. Или, наоборот, поддержка отечественного.

Бакиров пожимает плечами.

Почитав каталог, я отчетливо понимаю, что производство игрушки приносит ему денег, быть может, лишь на сигареты. Потому, чтобы выжить, ему пришлось еще организовать здесь же пошив различных сумок, карнавальных костюмов, которыми занимается с недавних пор жена Ольга.

Мы сидим на разных краешках стола, болтаем в воздухе ногами.

Бакиров говорит, что игрушка — это не просто детская шалость или такое баловство больших дядек на корпоративах. Игрушка есть субстанция, заключающая в себе память и время. У кого из нас в детстве не было такой? Плюшевой или пластмассовой. На батарейках или просто. И когда она падает вдруг с пыльного дачного шифоньера, то, как песня, воскрешает перед глазами все. Трехколесный со звонком, дворовый хоккей, оловянных солдатиков, поцелуи на ветру в арке. Время, когда так легко было быть счастливым.

Мы сидим и болтаем ногами. Мимо человек на тележке провозит упакованных вполне себе упитанных котов. Останавливается, объясняется с Бакировым с помощью пальцев рук. Тот что-то ему отвечает, научился, с тех пор как принял троих таких грузчиков на работу.

— Что он сказал? — интересуюсь я.
— Говорит, волшебник — иди домой. Все сделаем.
— В каком смысле волшебник?
— Да кличка у меня такая, — недовольно ворчит директор.

Гномы деда Михайло

Я пришел к нему по глубокому рыхлому снегу. Правда, сначала в уме держал, точнее, в блокноте, собирался, и думал: не помер бы. А в эту осень как-то сложилось все, и вдруг удалось. Самолет до Иркутска, китайский микроавтобус. Дед Михайло, как он себя называет, а в миру- Виктор Алексеевич Михайлов проживает с собакой Динго, портретом Маяковского, сотнями книг и стареньким компьютером у самого Байкала. Там, где берет начало река Ангара. Деревня так и называется – Большая Речка.

Он суетится у бурлящего чайника, его внезапно кидает, как юнгу по рубке от накатившей волны, и, снося стулья, громоздкие недоделанные фигуры из дерева, валенки с обогревателя, он буквально летает по избе.

— И так всю жизнь, – говорит после, расставляя стулья на место. – Ладно, я тебе сейчас свою лебединую песню спою.

— Простите?

В окошко его стучат.

— Ой, ребятки пришли.

Он идет в сени и уже там, в проем, произносит:

— Толик, Валя, давайте вечером.

Возвращается, объясняет.

— Школьники это. Ага, приходят, поиграть, почитать. Я им сказку написал. «Яйка-зазнайка» называется. Вот теперь с учительницей, чудесной девушкой Ниной, ставят. Этот, как его… Мюзикл. У меня там много персонажей разных. Зайцы, собаки, кошки всякие. Корова.

— Говорящая?

— Корова-то? Поющая, – хитро улыбается он. И без перехода начинает:

— Так всегда же: «аз» да «буки», деды, бабушки и внуки начинали с букваря. Вот однажды тетя Аня, букваря раскрыла ставни. Как из книги в тот же миг, буква «Я» на стол к ней – прыг. Ножку в сторону взметнула, рот капризный изогнула, руки в боки подперла, да как крикнет со стола. «Хватит мне стоять в конце, русской азбуки в торце. Я одна всей роты стою. Кто из вас сравним со мною? – начала она спесиво. – Али я ли некрасива? Я стройна, умна, важна, вы – холопы, я

– княжна. Вся Россия меня знает, потому что величает каждый, сам себя любя, лишь одною буквой «Я». Ну, и так далее. В том же духе.

Я много бумаги мараю. Сказы разные пишу, стишки, шутки, прибаутки.

Он опять встает и опять рушит стулья, я машинально через стол пытаюсь его подхватить.

— Как дам больно, – говорит он, уцепившись за шкаф. – Придуривается дед, куролесит. Я к этому с 41-го года привычный. Почему яна людях пытаюсь не появляться? Потому что кидает меня. А они жалеют. Ладно. Щас тебе покажу кой-че.

С этого же самого шифоньера, книжных полок, разных углов, он начинает извлекать пухлые бумажные папки. Складывает их на стол, и становится почти невидим. Только голова торчит с бородкой.

— Российская земля – не только у Кремля, – шпарит он, не давая мне опомниться. – По одной уродине – не суди о Родине. По чужому огороду слюнки текут, по своему – пот, – сечет он будто пулеметной очередью. – Когда ничего не стало, то и редька с хреном – сало. Ну, как? Годится? – тянет он шею из-за папок и убивает меня контрольным. – Более ста тысяч пословиц и поговорок написал. Не хухры-мухры?

— Как это – написал? Даль вон сколько лет собирал…

— Мне же, знаешь, когда-то так повезло. Шарахнуло по башке. Я маленький был в войну и уже был нехороший, контуженный. Долго не знал, где родился даже. Только спустя годы инспектор приюта рассказала, что нашли меня, брошенным в парке Сокольники. Было это перед войной. Случайные прохожие ночью услышали крик грудного ребенка. Пошли на голос и увидели младенца на муравьиной куче. Так что, выходит, я москвич по рождению. Потом отправили в детдом станции Удельная, Раменского района. Там меня усыновили Дедовы, потеряли, опять нашли. Война. Повезли домой. Помню строгую и добрую бабушку, которая однажды сказала непонятное: «Супостат совсем близко. Надо уходить». Уходить я не хотел, и меня начали уговаривать, что поведут показывать кошку, умеющую рассказывать сказки. Ну, тут уж я согласился. Шли лесом по дороге. Меня нес какой-то солдат. Я его сразу невзлюбил. У него винтовка висела на плече, я от нее все время получал по затылку. Еще у него очень большие усы. Я его Бармалеем окрестил. Вдруг налетели самолеты, кто-то крикнул «Жабы, жабы», так их звали из-за крестов. И этот дядька-солдат бросился со мной на землю. Знаешь, навалился всей своей тяжестью. Я подумал, что он меня хочет задушить. Стал его бить, кричать. А вокруг стали вырастать какие-то жуткие «цветы». Почему-то они мне запомнились

красными. Так я впервые увидел, как взрываются авиабомбы. А в следующее мгновенье осколок ему срезал голову, я видел, как она покатилась. Дальше – сплошная чернота. Немцы. Бабушка вцепилась в меня и не хотела отпускать. Немец оттолкнул ее. Она упала, схватила камень и швырнула его в конвоиров. Ответили ей автоматной очередью. Я помню, как немец давал мне конфету за конфетой и смеялся. Я тоже смеялся, с полным ртом конфет, и, довольный, тормошил бабушку, думал, что она притворяется.

И вот после той контузии не говорил совсем. Опять попал в детдом, нас повезли на Урал. Вышел из поезда под Свердловском и потерялся. Там дед меня подобрал. Анисием звали. Он был совсем слепой. Калика перехожий. Могутный такой мужик, огромный, с бородищей, былины пел, сказы сказывал. И вот он странствовал, меня всюду за собой на плечах таскал. Якобы побирался. Нихрена он не побирался. За ним приезжали на телегах, чтоб только привезти. И деревни между собой оспаривали его почти как святого. В деревнях тогда остались одни бабоньки, выжатые горем. Они сами в плуг впрягались... Скотину жалели больше людей. Дед Анисий заходил в избу и начинал петь (Виктор Алексеевич, кашлянув, начинает тоже): «Что ж ты, Пелагеюшка, разводишь горькую слезу… Глянь, тучи темные… Гляди-кась, Пелагеюшка, сокол твой ясный поднялся… Ой да защитил он твоих детушек, галчат махоньких…» И вот она, скрюченная, убогонькая, рассапливленная, будто распрямлялась. Свет в глазах появлялся. Плечи, как крылья, разворачивались. А дед все пел и пел. Мне он сказал однажды: «Когда сердце ревет, кричит, нельзя с людьми обычным языком разговаривать». У Анисия в роду все мальчики рождались слепыми, и все потом становились каликами перехожими. Он говорил так: «Мы що самому Ивану (Грозному) показывали. За що он нас медведем жаловал». То есть, на предков его вроде за попрошайничество Иван Грозный медведя натравливал. А они ходили. Анисий никогда готовые былины не певал, сам по ходу все придумывал. Творил. Я хоть и не говорил, но воспринимал, запоминал все. А он, как знал, что ко мне разум вернется. Не со мной, а с моим будущим разговаривал.

— И что же дальше?

— Однажды подошли к речке. Дед Анисий присел и говорит: «Воробышка, вернись к тетке Матрене, попроси чистое белое полотенце. Я побежал в деревню, а там сразу всполошились. Да ведь к смерти это. На берег пришли, а дед Анисий уже неживой. Так и умер, прислонившись к березе. Ледоход как раз на реке начался. Но ты про это не пиши. Кому

интересна эта моя биография? Чай вон лучше пей. Че ты, как красная девка. Побольше меду-то подцепляй.

Мы молчим. Слышно как хрустят по мерзлой улице чьи-то шаги.

— В общем, потом опять детдом, скитания. Мало-помалу речь ко мне стала возвращаться. Правда, говорил я нараспев, будто былины исполнял. Все это в меня вошло до такой степени.

Школу Виктор Алексеевич окончил в 30 лет. Потому что, говорит, в одном классе сидел года по два, три. Учился в одном месте, в другом. Частенько отправляли в психушку. Контузия его на время утихала, потом опять шибала. Но при этом он умудрился отучится в иркутском университете. На минуточку, филологический факультет. Преподавал в различных школах губернии русский и литературу, работал в малотиражках.

— Однажды девочки из класса, который я вел, попросили написать на выпускной стих. Я уже тогда вовсю баловался. Настрочил ночью. Они говорят, Виктор Алексеевич, это же песня. Напишите музыку. А откуда я ноты знаю? Ладно. Иду вдоль речки, под мышкой глобус, папка. Вдруг слышу – широко так песня звучит, будто по реке стелется. Исполняет моя любимая певица Зара Дулумханова: «Про-о-ощай моя школа…» (голос у Михайлова тенорный, так сказать, с песочком). И так она ее пропела, что аж мурашки у меня. Я думаю: как это? Ведь я же сегодня только стихи эти написал. Как Зара могла в Москве это спеть? Прибежал домой, наиграл на балалайке – песня готова. И начались казусы. Читаю, допустим, Алексея Толстого, тут же мелодия выходит. Думаю, вот опять глюки начались. Дальше – больше. Уже, в общем-то, дед был. Зашел как-то в книжный магазин, муторно на душе. Взял с полки первую попавшуюся книжку, оказались пословицы. И так что-то меня переклинило, что вслух стал произносить свои. Им прикрыть бы срамоту не ту, носить бы им трусы во рту, потому что срамота у них исходит изо рта. Шпарю, шпарю. И тут один мужик говорит: «Дедуля, ты записывай. Прям в копеечку». Только он это сказал – все, капец. Меня отключили. С этого и пошло, вон уже сколько наштрябал, – стучит он ладонью по толстым папкам. Ворсинки пыли подчеркивают каждый луч солнца.

— Выходит, вы прям кладезь какой-то.

— Какой кладезь, елки-моталки. От болюшки все.

— То есть поэзия, как формулировал Довлатов, это форма человеческого страдания? Не будет лыжой по морде – не будет и поэзии?

— Я не знаю. Ощущение жизни у людей пропадает куда-то. Никто не делает ничего своими руками. Не страдает, если не получилось. Не мучается. Не любит ничего и никого по-настоящему. Чтоб, если не выйдет – пулю себе в лоб пустить. Хотя бы теоретически. Я тоже тут не безгрешен. Вот женился на Сашке. Она – чудеснейший человек. Так? Мягкая, добрая, ласковая. Аринушка Родионовна – вот кто она. А потом пошли мы как-то в баню, она маленькая, полубурятка такая. Смотрю – ноги у нее гнутенькие, будто с лошади только слезла. Думаю, щас выйду из бани и тебя брошу. Увидел – и все, нет жалости, нет любви. Когда со мной эти приступы вот опять начались, я тогда на Алтае работал. Она в Иркутске была. И подумал, вот буду так летать, а ей куда деваться. Станет возиться со мной, жалеть. Я буду маяться. А ведь нет несчастнее несчастья, чем считать себя несчастным, – цитирует он опять себя. – Взял и подал заявление на развод. Дурак, конечно, но мне простительно, – только в уголки губ, пустив на время сожаленье, улыбается он, и тут же спохватывается.

— Ладно. Щас я те книжку подпишу.

Он опять улетает – сшибая дядьку Черномора, деревянного всадника на лошади, на этот раз его задерживает печь.

— Вот-от, – хорохорится дед. – От нее и потанцуем.

Затем выискивает на полке нужную книгу.

— В прошлом году крупица из моих строчечек вышла в местном издательстве, – говорит. – И несколько сказов. «Сказ о Байкале», например.

— И как отреагировала общественность?

— Молча. Поэты местные меня не любят. Считают выскочкой. Где ж моя ручка? Володька приходит, ручка пропадает, – улыбается он одними глазами, не глядя на меня совсем. – А, вот.

Подписывает долго, старательно.

— Но что мне до тех писателей. В себе бы разобраться. Иногда с самим собою, знаешь, как трудно жить, никак не получается. Преодолеешь вроде что-то, а дерьмо все равно вот сюда, к глотке лезет, я его туда, оно обратно.

— Как же быть?

— Как, как. Пою. В былинном стиле.

Он запевает сперва потихоньку, затем, крепче, разгораясь. Словно нитки, жилы из себя вытягивает.

— Что ж ты, старый дурень, здесь развесился, глянь-ка в зеркало, ай да посмотри. Да нешто ты во слезах-то будешь свою бороду мо-очить? Ну, и так далее. Легче малость становится. Чего я дожил до 80-и лет? Потому что стараюсь зла никому не желать. Я много видел, много

обошел. Били меня страшным боем. И когда кого-то ударят по лицу хоть в кино, я прямо знаю это ощущение, крови, соплей.

— Ну, так еще Даль говорил, что сытые и богатые пословиц не пишут.

— Ну. Причем, все спонтанно рождается. От снега за окошком, от фразы чьей-то оброненной по телевизору. Все, что вышло у меня хорошо, вышло случайно. Нет здесь моей большой заслуги. Я только взял, не поленился, записал. Как получилось не мне судить. Главное, чтобы что-то хорошее осталось, порыв душевный, мысль добрая.

Кукушка в часах, пружинно оповестила о времени. Пузатый щенок выкатился из-за печки и стал играть с собственным хвостом, намереваясь ухватить его, поймать. Хвост оказывался гораздо шустрее.

— Ого, всполошился дед. – У меня процедуры.

— В каком смысле?

— Я, старый пень, три раза в день на снег босиком выхожу, в огород, и там обтираюсь.

Тень от дома занимала половину сада. Сосны у Ангары стояли все в снегу, будто паруса фрегатов, ожидающих ветер. Виктор Алексеевич выскочил в одних трусах. Так, вероятно, должен был выглядеть Иван-Царевич из сказки, если б состарился, но не растерял свой пыл. Он что-то мурлыкал себе под нос. Потом оттянул резинку, шлепнул себя выстрелом в живот, и принялся обтираться снегом. Я поежился. А он пел, и снег опускался по его плечам, иссякал, путался в бороде.

— Хорош, – скомандовал дед сам себе и сиганул к дому, сверкая по пути пятками. Я покурил. Когда зашел, он уже пялился в компьютер.

— Елки-палки, я ж не знал, что ты приедешь. Хоть бы позвонил. Сидишь теперь на чаю, кишки моешь. Хлеба хочешь?

Я не хотел.

— Тогда я сейчас тебе из свеженьких прочту. Ах, ты. Где? Куда убежала, – говорит он строчке, будто она чудесным образом ожила.

— Амуром аукнется, дитем откликнется. Пойдет? – глянул он поверх очков. – В любви и ворона журавль. Или вот. Кто в Иркутске свинья, тот и в Париже не голубь. Аршинами нас не измерить, мы в тоннах дураки. Язык всегда беднее мысли, но всяко богаче глупости.

Солнце перевалило сопку, и щенок обогретый печкой и лучами уходящего дня, сидел в рыжем пятне, осоловелый, глядел в одну точку, подремывал.

— Больше всего, конечно, у меня о любви, о нас в этом мире, и о матери. Ты говоришь, откуда. Знаешь, какое у меня было однажды потрясение. После я надолго в комнату с белым потолком загремел. Мать я свою нашел, – снимает он очки и щурится от мандаринового

света из окна. – И лучше бы и не находил. Все во мне перевернулось. Оказалось, что она только на двадцать пять лет меня старше Пила страшно. Видишь, как получается.

Он потер глаз.

— Любить трудно. Самое сложное, взять да и простить. За все. Нет предела высоты мудрости, но куда беспредельней бездна глупости. Короче, много у меня этих пословиц-гномов. Сам видишь. Вот такой перед тобой поэтик. Не стану кокетничать, мне немного осталось. Врачи говорят: у вас Виктор Алексеевич, такая ситуация, что должны радоваться каждому прожитому дню. Я и радуюсь. Но только не хотелось бы, чтобы более 100 тысяч афоризмов, пословиц, гномов моих оказались на помойке. Хочется моих ребятушек (пословицы) в народ вывесть. Может, они и не нужны никому. Может, из них костер хороший получится. Ну что ж, мы старались, – улыбается он.

Я засобирался. Вечером у меня поезд дальше, по Транссибу, на восток.

Виктор Алексеевич поднялся, оперевшись на увесистые свои папки.

— Приезжай, – сказал он, малость даже опечаленно. – Только уговор – в следующий раз дня на три. На Ангару сходим, омуля половим. Закоптим. Во дело будет.

Мы долго прощались у калитки. Мама щенка овчарка Динго терлась о колени, падала на живот и от радости скулила. Я уж поднялся на пригорок. А он все махал и махал. Потом крикнул:

— Я там банку таежного меда в твой рюкзак сунул. Выкинешь – отлуплю.

Давай, Джон!

— Дохляки, — сказал дядя Саша, по-нижегородски упирая на букву «о». В ринге, очерченном расступившейся толпой, висели друг на друге два гренадерских гуся. И сопели. Они напоминали боксеров-тяжеловесов, тайком договорившихся поделить куш.

— Мой бы здесь наверняка апперкотом вдарил, — дядя Саша показал, как; стоявшие рядом образовали некоторую прореху.

Гусыни тем временем бродили от дерущихся поодаль, теребили прошлогоднюю мертвую травку.

— Петрович, ты, небось, гусака-то в одной корзине с «любкой» вез? — крикнул дядя Саша кому-то в толпу. – Он ее, поди, всю ночь и жарил. А теперь больно надо ему драться.

В толпе загыкали.

Петрович сам, как гусь, двигавшийся на корточках, отмахнулся. Сдвинул со вспотевшего лба на затылок изношенную кроличью шапку.

Гуси топтались так еще долго, ни «бе», ни «ме», пока судья не развел в сторону руки, объявив ничью.

А из машин, выстроившихся в ряд у магазина «Магнит», уже несли следующих. Гуси негодовали, скандалили, упирались.

— Ты смотри, — изумленно говорил сам себе мужик, волоча птицу чуть ли не за шею, — ни хера не хочет драться. Не хочет и все.

Магазин притягивал не только автомобили. Вскоре оттуда явились два дяди Сашиных товарища – Коля и Володя. Судя по блаженному выражению их прослезившихся лиц, приобрели они в этом заведении не только батончик «Марс».

Гусиные бои в Павлове-на-Оке Нижегородской области — это более чем вековая традиция. Еще император Николай Второй, наезжая в эти места, восхищался их умением биться за гусыню едва ли не насмерть. После прихода к власти большевиков забаву, как некий элемент буржуазности, прекратили. Но местные любители, или, как они сами себя называют, охотники, породу умудрились сохранить. Птицу натаскивали втихаря. Во дворах, в хлевах и даже в избах. Скрещивали, менялись, воровали.

Только в 90-х бои вновь разрешили. И вот каждую весну, как только начинает припекать солнце, удлиняя на крышах сосульки, в Павлово съезжаются заводчики бойцовых гусей со всех окрестных мест. И не

только. Теперь этих огромных красивейших птиц разводят везде — от Курска до Улан-Удэ. Возят на бои в специально плетеных корзинах через сотни верст.

Но вот абсурд: с тех пор как бои опять разрешили, сами гусятники, по мнению дяди Саши, как-то обмельчали, что-то нарушилось, умерло в них самих, человеческое, важное что-то. И теперь, говорит он, все происходящее напоминает дешевый театр с декорациями из картонных коробок. По этой причине он и не участвует в нынешнем действе. Точнее, не участвует, потому что не взяли, его гуся нет здесь. А кому же, усмехается он, интересно, когда один выходит и всех побивает. Тут нужно шоу. И оно с некоторыми оговорками происходит.

Нам нравится дядя Саша. Он какой-то крепкий, не надломленный, что ли, каждодневной рутиной, и печальным несоответствием реальности после вчера употребленного... Он обещает показать нам настоящий гусиный бой, а мы и не против. Усаживаемся в его большелобый автомобиль «Волга», покидаем город.

Дальние кущи за стеклом окутаны синим. И в крохотную форточку, которую я открываю, чтобы покурить врывается ветер. В нем уже так много от талого снега, от шалых ручьев, что в который раз одолевает обманчивое: все можно начать снова. Влюбляться, сходить с ума, жить.

— Так как же их тренируют? — повторил я дяде Саше свой вопрос.

— Ну, как? – глаза его степенно поглощали шоссе. – Вот они еще только из яйца вылупились, а уже видно: этот будет драться, а этот, – переключил он скорость, – пусть так ходит.

— О! – всполошился сидевший со мной плечом к плечу Николай. – Как в футболе!

— Но и тот, которого ты определяешь в бойцы, еще через многое должен пройти. Он либо шебутной чересчур, горячий. Такого надо на землю спускать, чтоб не зарывался. Или, бывает, прыжок никакой – надо ставить, кому-то силы удара не хватает.

— Я ж говорил, как в футболе! – укрепил свою мысль Николай.

— Или вот, допустим, «любки», — кашлянул дядя Саша в кулак. – Некоторые сгонят всех в одну кучу, гусак ходит-ходит, то на эту вскочит, то на другую. Анархия, бляха-муха. Но так можно разве? Тут надо наблюдать: ага, на эту глаз положил. Раз ее – и отсадил к весне. Тогда у них и тяга друг к другу будет. Он порвет всех за нее. У моего вон три их, бабы-то, – неожиданно сказал он, — и со всеми, тьфу-тьфу-тьфу, справляется.

Он подождал, пока мы обгоним фуру, сказал потом:

— Но любимая, конечно, одна. Я ее у соседа купил. Один раз слышу, мой с ней через три двора перекликается. И как они это делают… Сердце заходится. Ну, я пошел, еле уломал. Бешеные деньги, между прочим, отдал. И вот он за ней ухлестывает, что ты! Прошлый раз с Петькиным Красина гусем схлестнулся, дыхалку ему сбил, и, пока тот очухивался, он уж на нее вскочил, оттоптал благополучно, и обратно драться. Пять лет никому не проигрывает уже с ней.

Здесь Николай ничего не добавил, он молча смотрел в окно на перелистывающиеся пейзажи, думал.

— А от меня жена ушла, — сказал совсем без тоски даже. – Уехала в Волгоград и не вернулась.

— Ну, ты бы узнал, жива ли? — сказал я.

— Конечно, узнал. С дирижером филармонии живет. Ты не подумай, она хорошая. Я говно.

Он достал из-за пазухи бутылек, приложился, утер ладонью выступившее на глазах благодушие. Потом вдруг опять всполошился, стал пытать меня футбольной статистикой.

— Кто был единственным в Советском Союзе капитаном футбольной и хоккейной сборной?

— Бобров, — пожал плечом я.

Далее он спрашивал о первом обладателе «Золотого мяча», о человеке, который первым забил 400 мячей в чемпионате СССР.

Где-то я угадывал, и он досадно бил ладонью об ладонь, будто проиграл мне лошадь. Где-то я давал маху, и он радовался, как пацан, подскакивал на сиденье, бился башкой об крышу и колотил себя в грудь, туда, где сердце размягчал алкоголь, и оно становилось податливым, точно свинец.

— Коля у нас знаменитостью, между прочим, был, — сделал заявление дядя Саша. — Токарь, слесарь, жестянщик. В «Сельхозтехнике» на нем весь парк комбайнов, зилов и газонов держался. Уазики там. Но это ладно. Он еще у нас местным Гаринчей был. В команде «Волга» во втором дивизионе лучший бомбардир три года. Ты, поди, про такую команду-то и не слышал?

Я честно сознался, что нет.

— Ну, вот, а он каждый год по 28 мячей заколачивал.

— Один раз двадцать пять, — уточнил Николай и шмыгнул носом.

— А потом что же?

— Известно, что, – дядя Саша посмотрел на Николая в зеркало. – Начальство сказало: ша, бля. Хорош тряхомудием заниматься. Техники негодной больно много в тот год скопилось. А он – футбол.

— Пришлось запить, да?

— Почему сразу запить, — немного обиженно произнес он. — Просто ушел из футбола и все. Надо чем-то одним заниматься хорошо.

Он помолчал, потом докончил тару, сказал:

— Ты не думай. Я ж не пропойца какой. Просто бывает так, душа поет, надо, понимаешь.

Я его, кажется, понимал.

Село Сосновское, где проживают Николай и дядя Саша – обыкновенный, можно сказать, населенный пункт советского типа. Серые пятиэтажки, облезлые коты с сонными мордами, подозрительные личности на скамейках. Дядя Саша проживает в одной из таких пятиэтажек на окраине. Зато прямо у его подъезда стоит крепкий сарай, похожий на зимовье сибирских охотников. Внутри, как в галерее. Старые портреты вождей – Ленина, Сталина, Хрущева и Брежнева. Обнаженные красавицы, выдранные из разворотов журнала «Плейбой». Хлев разграничен для разной живности перегородками. Посередке выводок со свиноматкой, напротив – боров, лежащий на громадном пузе, который сопит так, что разлетаются в сторону с пола опилки. Над каждым животным табличка с именем, прочая информация. Прямо-таки немецкая какая-то дотошность. «Сара», – значится над небольшой свиньей. «Оплодотворял 25 января без возбудителя».

На верхней балке под низким совсем потолком маркером записан чей-то телефон с множеством нулей в конце.

— Это Саня президенту звонил, – пояснил Николай. – Хотел вопрос задать, че-то там про сельское хозяйство.

— Задал?

— Како там. Не пробьешься, – вздохнул Николай, как будто и сам по какой-то причине тревожил президента. – Сашка он, молодец. Хозяйство, гляди, какое держит. Дочерям обеим помогат.

— Ромка, сука, ты на хера трех депутатов съел? – донесся до нас откуда-то голос. – И бабе еще голой низ отхватил.

Мы заглянули в дверь, там, в надышанном маленьком пространстве и косых лучах света из оконца стоял дядя Саша и белый с пятнами теленок. Он вдруг взметнул хвост, подкинул зад и стал носиться, взбрыкивая.

— Василич, – сказал Николай серьезно, – вон гляди, он твоих депутатов уже того, высрал.

Дядя Саша пнул лепешку в угол, обтер о солому башмак.

Затем он долго ловил гусака и гусыню, нежно, как породистых щенков, уложил их в картофельные мешки.

В проеме двери появилась жена.

Николай сразу вышел на воздух.

— Вот хочу к деду на драку отвезти.

— Тебе делать, что ли, больше нечего, – шикнула она, но все равно было отчетливо слышно.

Дядя Саша не стал ничего возражать, он просто отнес гусей в багажник, завел двигатель, мы тронулись дальше.

Деревня Шишково вязла в сугробах. У заброшенного дома, где остов ржавого трактора занесло по самую крышу, мы свернули налево. Вышли, оставив в багажнике умолкших гусей. Ни души не было вокруг. Только у озера в тополях усердно пели синицы, как будто скоро что-то наступит, сбудется, произойдет.

В пахнущих баней сенях, мы обстучали подошвы ботинок от снега, вошли в дом. Прямо у порога стояла классическая русская печка с вылинявшими занавесками. Рядом с ней сидела беременная кошка и, покачиваясь, дремала. Дядя Саша обнялся с отцом, вставшим навстречу из-за стола. В руках у него были очки без дужек, на резинке, районная газета. Мы объяснил цель своего приезда.

— Это ж надо за каку вы даль ехали, – усмехнулся одними глазами дед. – Да, Москва. Я был там один раз. Где-то году, кажется, в 63-м. Точно, в 63-м.

Деду Василию Васильевичу 81 год. И все эти годы он прожил в деревне, почти никуда не выезжая. Косил, пахал, тайком от государства гнал самогон и валял вручную валенки.

— Прежде гусей этих еще мой батя держал. Потом мы, дураки, с братом стали. Дрались и гусями, и так, ой, щас вспомнить. Теперь вот Сашка держит. Но спроси меня и его: зачем? Никто толком не скажет.

С помощью соцработника Натальи дед напялил камуфляжный бушлат, все пошли выбирать место.

— Надо в баню дров подкинуть, – велел дед Наталье.

— Я только что ходила.

Место нашлось между соседским ГАЗ-53 и широкой уличной тропой. Соцработник Наталья – девушка без возраста с одутловатым, словно у детского пупсика, лицом – выгнала дедовых гусей из сарая. Они были этим фактом весьма недовольны. Выгнув шею, шипели на нее. Дядя Саша выпустил из мешка своих. Но драка не состоялась. Гуси с минуту посмотрели друг на друга, и пошли в разные стороны. Как только ни гоняли их – те ни в какую. Забивались под машину, и соцработник Наталья гнала их оттуда ивовым прутом, убегали в проулок, и она, засыпая в валенки снег, лезла и лезла.

— Не будут драться, – с зажатой беломориной в уголке рта, сказал дед. – Они же братья.

— К Генке надо идти, – серьезно подытожил дядя Саша. – К шурину.

Дядя Саша нес гусака. Николай подхватил под мышку гусыню, но она все время вырывалась. Он неумело поддерживал ее коленом, перехватывал, гладил по уворачивающейся голове:

— Ну, че ты, че ты. Успокойся.

Генка – усатый, азиатскими заспанными чертами лица похожий на постаревшего писателя Куприна – выслушал дяди Сашины доводы степенно.

— Ну что ж, – сказал невозмутимо. – Давай биться.

Пока он выводил своих из сарая на запорошенный соломой двор, я спросил дядю Сашу.

— А ставки на бои делают?

— Бывает, – сказал он, вынимая запутавшуюся ногу из своего кармана. – Ну, несколько человек договариваются. Обычно дерутся так просто: мой тваво сильней. Да иди ты.

Гусаков развели в стороны. Дед дал команду. И они сцепились. Сначала, как говорит дядя Саша, щупали друг друга. Затем стали молотить.

— Джон, давай, – крикнул Николай. Он ходил вокруг них, поднимая руку, будто ждал паса.

— Так его, так, – сначала со смехом произносила жена Гены Татьяна.

Через пятнадцать минут уже все потрясали в воздухе кулаками, будто выкрикивали лозунги на митинге.

На крик и возгласы прибежали мальчишки, уселись на дощатые ворота. И только пес Цыган не был допущен к зрелищу. Он царапал калитку, вставал на задние лапы и оказывался едва ли не выше мальчишек.

— Иди отсюда! — кинул поленом Геннадий в дверь. – Убью! На Покров только кабана заколол, только порубил на куски. Пошел за тазом. Он тут как тут. Три килограмма грудинки сглотнул, не жуя. Я в него тазом запустил, жалко промазал.

— Джон давай, – кричал Николай, растопыривал руки, как вратарь.

Пух летел по двору, словно с неба пошел теплый весенний снег. Гусаки взлетали, били сверху клювами, стараясь угодить в самое темя. Крылья их были уже окровавлены.

А гусыни метались от них к людям, кричали, кричали. Заглядывали в глаза снизу, нам, затеявшим все это, просили, умоляли, клянчили.

Первым не выдержал дед, он хлопнул шапкой об землю, сказал:

— Брейк, вашу мать.

Геннадий и дядя Саша подчинились. Подхватили своих гусей, но и на весу, болтая в воздухе красными лапами, они норовили клюнуть друг друга, нанести последний, решающий удар.

— Николай, – сказала Татьяна. – Я вот тут тебе записку написала. Сбегай к бабе Маше. Она недавно согнала, я видала – дым шел.

Захватив сало, банку огурцов и широкую миску соленых груздей, Татьяна и Геннадий отправились с нами к деду в дом.

Накрыли на стол, через время явился и Николай, держа под мышкой, как гусыню, трехлитровую банку мутного самогона. Но с самогоном ему было сподручней. Он не вырывался.

Изба тут же наполнилась голосами, перебивающими друг друга, звоном стаканов, праздником из ничего.

Соцработник Наталья мертвой хваткой обнимала за шею, будто душила, скотника Серегу, который без слов пытался освободиться от ее напористой нежности, краснел, ему было неловко так.

— Это брат отца моего, – показал дед на одну из настенных фотографий. Там в парадной форме сидел гвардеец с закрученными кверху усами. – Хваткий был, конезавод здесь держал. Тяжеловозов разводил. В гражданскую попал к немцам в плен. Только на седьмой раз получилось бежать. Прибежал домой, тут его и раскулачили, – улыбаясь, сказал дед.

Самогон мутно покачивался от колыханий. Пили за любовь, за деревню, за родителей. И тут вдруг на одном из тостов Николай накрыл свою стопку ладонью.

— Все.

Мы вышли с ним покурить. Синяя одинокая звезда взошла над полями.

— Ты не думай, – сказал вдруг Николай и так глубоко затянулся сигаретой, что дым не вернулся при выдохе. – Я не алкаш какой.

— Я и не думаю.

— Проходит жизнь, а человека нет. Нет ему места, мается, как мудак неприкаянный. Все тащится, тащится куда-то, а следов никаких. Как тут быть?

— Не знаю, — признался я честно.

— Вот и я. А знаешь, почему меня Гаринчей местным зовут? Гаринча – это птица такая. Она летает. И я с мячом, знаешь, как летал.

Баня давно затухла, мы прощались у порога уже почти час, врали, обещали непременно вернуться. На повороте фары выхватили опять

остов трактора, от которого виднелась только крыша. Озеро, усыпленное зимой, поля, поля.

Николай вышел на окраине Сосновского, крепко пожал ладонь, затем крикнул в пустоту ночи:

— Гаринча, давай.

— Что же вы, вообще водку не употребляете? – спросил я дядю Сашу.

— Да уж восемнадцать лет как. Понимаешь, – сказал он, – я боксер был. Чемпион района. И вот как напьюсь, немедленно давай всем морды крушить. Если б начальник милиции не был знакомым, до сих пор, поди, где-нибудь в Мордовии рукавицы шил. И тогда решил: не можешь – не пей.

Я вдруг вспомнил всю его ораву: поросят, быка, гусей, кур, голых женщин по стенам, недовольный тон в чем-то его подозревающей жены. И еще это вспомнил: «Но “любка” всегда одна».

Он высадил нас на остановке автобуса. И долго еще в темноте не исчезали огоньки его задних фар. На колдобинах картофельные мешки подбрасывало. И гусыня о чем-то причитала. То ли звала кого, то ль проклинала...

Дом старого немца

Фотографии старой Самары. Деревянные дома с резными наличниками и готическими сейчас кривоватыми шпилями. Улицы, зовущиеся именами классиков, переулки. Бродили здесь когда-то и Ярослав Гашек, и Алексей Толстой, и Максим Горький, и Юрий Олеша. Попивал пивко в закуренных кабаках Ленин. И таких мест в Самаре уйма. Вот дом, куда, говорят, любил наезжать драматург Александр Островский. Некоторые «волжские» вещи он задумал и написал именно здесь, когда в ночной трубе, как в дуло ружья, гудел ветер. Дороги были заметены, лошади в стойлах хрустели овсом. И хорошо было слушать метель, пить с липовым медом чай, писать о счастье, которое должно вот-вот прийти, наступить, но почему-то в строчках, да и в жизни ускользало, нарушалось от какой-нибудь совсем уж дурацкой мелочи…

Дома, дома, дома. Каждый из них чем-то овеян, хранит чужую недоступную тайну. Но один дом влечет как-то особенно. Пять прожил в Самаре, а так и не привык. Идешь по улице Фрунзе в сторону Венцека, и вдруг в проулке между обшарпанными особняками покажется не то терем, не то маленький средневековый замок. Через метель этот дом напоминает акварельный рисунок к роману «Айвенго».

Когда я позвонил известному самарскому краеведу Александру Завальному, чтоб выяснить что-то о доме, он мне сразу сказал:

— Почти ничего не известно. Построен, вероятно, кем-то из колониальных немцев, выходцем откуда-то с Южной Германии. Скорее всего, среднего достатка, потому что дом во дворе, а тогда престижно было строить с выходом на улицу. Купцам ведь присущи были разудалость, вычурность, ухарство. Вот почти все, что я знаю. Но вы поговорите с жильцами, что-то да выясните. Пусть Самара обрастает легендами. Пусть она будет кусочком Одессы.

Кто бы спорил. Пусть.

И вот мы с фотографом едем в трамвае. Мелькают за окном старые дворики, возле крыльца которых дремлют разбойничьими мордами коты, потомки, должно быть, тех, которые видели в разморенном прищуре челны Стеньки Разина, пристающие к берегам. Остаются позади фронтоны со львами и атлантами, держащими на плечах крышу. Когда-то в них горели свечи, звучал патефон, а теперь?

Теперь возле немецкого домика Фахт-Верновой конструкции старик с метлой карябает черные листья.

— Все ходют, ходют. Пишут, пишут, – бубнит он себе под нос. – А дом разваливается. Не знаю я ничего. Я сюда из Сызрани приехал, к сыну, а он лет десять всего здесь живет. Говорят, дому этому то ли 130, то ли 150 лет. В общем, где-то Ленину ровесник.

Мы обошли его. «А немец был умен, – подумал я, оглядевшись. – Зачем ему было выпячивать свой дом на улицу, где вечно цокали копыта конок, бродили люди. Наверное, хотелось немцу покоя?»

— А вы спросите у Саньки Ефремова, он в пятой квартире живет, – сказал дед. – Может, и знает чего.

Мы входим в подъезд. Старинная лестница, ведущая вверх, вверх. Еще одна… И тут открывается, что в подъезде нет потолка. Только стеклянная крыша. Получается, как в обсерватории.

«А немец был еще и романтик», – подумал я, глядя, как снег летит с неба прямо в лицо и крупными каплями остается на стеклах. Я старался разглядеть что-нибудь замечательное. Узкие высокие двери 19 века, темные бронзовые ручки, кнопки звонков с ячейками, в которые когда-то вставлялись бумажки с фамилиями жильцов. Нажимаю кнопку рядом с означенной цифрой. Молчание.

— Это вам надо вечера дождаться, – сказал тот самый дед, когда мы вышли обратно. – Сашка, он давно тут живет, много должен помнить.

Вечером снова жму кнопку звонка. Дверь открывается. На пороге Александр Ефремов – седой старик, похожий на монгола. Он выслушивает, а потом спрашивает:

— Журналисты всегда по ночам шастают?

Я говорю, что журналисты вечно не вовремя и всегда некстати.

Прямо с порога он достает из пальто пачку сигарет. Присаживаемся на деревянную ступеньку.

— Немца того, конечно, никто не помнит. Но, видно, тосковал человек по родине, вот и выстроил этот дом. А жильцы здесь менялись часто.

И действительно – много помнит житель этого дома, и долго длится беседа. Рассказывал Александр Егорыч про то, как у какого-то Федьки, который и жил-то всего зиму, гостил человек по прозвищу Витька Паровоз. Большой и тяжелый, он часто выносил старинный стул к крылечку и, положив ногу на ногу, молча курил. А потом умер, не оставив никаких легенд, кроме меткой клички и не разгаданной тайны. Ходили слухи, что был он когда-то членом известной московской группировки «Черная кошка».

Был здесь мужик еще один Федор, который служил лет тридцать в малой авиации, летал на Ане-2. Когда напивался, вечно рассказывал

одну и ту же историю. Мол, мечтает из «кукурузника» своего построить более модернизированный самолет и махнуть на нем в Канаду.

— Почему в Канаду-то? – спрашивали его.

— А чтоб по этой ебаной стране тужить, – был ответ.

В другом, заднем крыле, где, говорят, раньше были не то амбары, не то конюшни, жил своего рода Кулибин, некий изобретатель по фамилии Романов. У него у первого в округе появился сперва велосипед, а затем мопед. Мопед этот помнили долго. Количество воспоминаний увеличивалось с каждым сваленным забором. Куры, до того вольготно нежившиеся в золе, которую выносили из печек, не знали от Романова спасу. Их глаза стали гораздо шире, и даже в полной тишине, не предвещавшей опасности, они то и дело вертели головой и словно прислушивались.

— И еще много чего было, – замечает Александр Егорыч. – И, как ты говоришь, любовь была. Балерина тут жила одно время... Но кто, с кем любился, убей – не скажу. У них ведь, у балерин, не поймешь… Сегодня одного люблю, завтра пошел на хер, ей вдруг показалось, что скрипач из музыкального на нее так смотрел, так смотрел, аж под животом свело. Что делать. Богема, – выдержав паузу, равную сигаретной затяжке, философски изрек он. – Тонкая, как говорится, душевная организация. И в «дурака» играли во дворе. И морды били. Обычная, короче, жизнь. А о немце том ничего не знаю, братцы. Эх, – хлопнул он себя по коленкам, – пора мне. Завтра рано иду браконьерить. Семью (с ударением на первый слог) кормить надо, – сказал он.

А я почему-то того немца отчетливо себе представляю. Высокий, худой, молчаливый. И глаза у него будто заплаканные, как у писателя Бунина. Впрочем, я, конечно, могу грешить против исторической правды, но ведь на что-то же дано нам воображение?

Ночь. Трамваи уже не ходят. Фонарь качается на ветру. Метет, метет. Не бил бы в лицо ветер, не мерзли бы ноги, стоять бы возле этого загадочного дома, построенного черт знает кем, и стоять. Смотреть зачарованно на фонарь, снег и пса, сидящего возле подъезда. Который как будто кого-то ждет и ждет. Проходит лето, осень. Пройдет и зима.

Дядя Леша Андеграунд

1

Я переобулся. Только что купленные в райцентре Салми бродни сияли на солнце. Посидел, покурил, и обошел берег. В травах, завалившись на бок, лежали старые облупленные карбасы, ржавели отходившие свое усталые винты, поблескивали на солнце круглые, как линзы телескопов иллюминаторы. Никто не окликнул меня, не спросил, чего надо.

Покоцанная лодка нашлась у рыбачки Лиды.

Но везти меня на остров Лида ни разу не собиралась.

— И чего все прутся к этому е…нутому? – зудела она. – То сектанты, то нудисты, то зеки. Балабол он и гондон , – вполне внятно отрекомендовала рыбачка моего будущего героя. – Я не удивлюсь, если он вотрет тебе, что только он и есть хозяин того острова.

Она напялила галоши, мы спустились меж облепленных пушистых камней. Во дворе, как знамена чужих и совсем неведомых стран, полоскались на веревках нарядные половики.

— Вон, – кивнула она на лодку. – Правда, течет, паскуда. Но до острова, поди, дотянешь. Там, если что, ковшик.

Лида подоткнула подол, обнажив незагорелые величиной с переспевшие дыни колени, уперлась в камень и спихнула суденышко. Тугая волна долго не давала отчалить. Наконец, изловчившись, я кое-как вскарабкался на одну, будто на холм, стал виден рыжий проселок, ведущий к двум по-северному сработанным домикам, нужник и пес, дефилирующий меж медовых сосновых стволов с озабоченным видом, будто он из налоговой. Лида крикнула, пересиливая ветер:

— Как хоть тебя звали-то?

2

Говорят, Мантсинсаари в переводе с финского означает Земляничный остров. Место и в самом деле упоительное. Это самый крупный остров на северо-востоке Ладожского озера. Даже в выкладках сухой цифири характеристика его отчаянна и не скучна: 16 километров в длину, 7 в ширину. Два маяка. Шесть медведей, семь рысей, двадцать пять лосей, тридцать лис, два поселения бобров, несколько сотен зайцев, змей, ужей, енотов. И единственный ныне обитатель Клюня.

Клюня – это не кличка, фамилия такая. Полное имя Алексей Иванович. По национальности – белорус. Хотя бравадно утверждает, что имеет внушительные французские корни.

Я греб к нему на лодке, как подыхающий во время перехода через Суэцкий канал, галерщик. Мне просто хотелось увидеть воочию, что за нахал такой этот Клюня, разрешивший себе жить так, как велит его заполошное сердце. Кто дал ему такое право? Какое такое ведомство разрешило? Минфин, пенсионный фонд? Быть может, какое–нибудь загадочная структура под кодовым названием Агентство теплых дождей?

Через час болтанки оказался в бухте с растрепанными веревками водорослей. Привязал лодку к дикой яблоне, и зашлепал голенищами резиновых ботфортов меж греющихся на камнях гадюк по дамбе. Когда-то здесь шесть раз в день ходил паром, перевозил технику, людей, скот на пастбище. Но это было так давно, что теперь не вспомнит ни одна местная чайка, только вода.

Дорогу утягивает в ельник, идти по ней легко и приятно. Она прямая, как спица.

Километров через пять распахивается поляна, поросшая белым по грудь цветком. Продираешься сквозь травы, путаешься в нитях, дуреешь от запахов и вдруг наталкиваешься на забор с коровьим черепом. Чуть дальше дом с шиферной крышей, которую почти разобрали ветра. В некоторых местах, как древние автомобили знакомого всем чудака, стоят только печки.

Мятые тропы уводят в сторону. «Наверно, туристы», – думаю я, затем обнаруживаю вытоптанное место, как для привала. Но ни мусора, ни следов кострища, ни консервных банок. Только несколько раскопанных муравейников. И тут до меня, идиота, доходит, что это простой русский мишка. Обыкновенный, проще говоря, бурый медведь, Ursus Arktos. Наелся муравьев, валялся тут, кайфовал, слагал из облаков воздушных лошадок и овечек.

Колени стали ватными, по спине, будто уж прополз. Я ускорился и нервно грянул: «Не для меня, пряде-о-о-от вясна. Не для меня Дон разольется».

Каким чудом отыскал потом дом аборигена, до сих пор не представляю.

Островитянин стоял у поленницы ко мне спиной и тягал пудовую гирю.

— Пять, четыре, три, два, один, – кряхтел он.

— Вы Алексей Иваныч Клюня? – как можно спокойнее, чтобы не напугать старика, уточнил я.

Он опустил гирю на траву и только потом обернулся:

— Ну и?

3

— А знаешь, какой самый верный способ, когда встретишься с медведем морда к морде, избежать смерти? – веселился он, выслушав о растревоженных муравьиных кучах. – Медведи очень не любят человеческого говна. Прямо терпеть его не могут. Поэтому надо немедленно набрать в ладонь как можно больше этой субстанции и кинуть ему в морду.

— А где ж так быстро взять-то?

— Хм. К тому времени, как ты увидишь его, такого добра у тебя будет предостаточно, – улыбнулся он своей, вероятно, не раз уже использованной шутке.

— А вообще, если серьезно, при встрече с медведем надо истошно орать и смотреть ему в глаза. Они не любят шума и уходят.

— Хотелось бы глянуть на это воочию, – бурчу я.

— А че. Я однажды повстречал в лесу одного задорного. Он встал на задние лапы, посмотрел и как будто сквозь зубы сплюнул. А если медведь встает как в цирке, – это, без дураков, собирается атаковать. И не пройти мне было, не проползти. Ну, я взял громадную ветку, как пишут в милицейских отчетах, похожую на дубину, и как заору на родном наречии, как понесусь на него. Он опустился на четыре лапы и смотрит, мол, что за упырь? Развернулся, подумал маленько и, не торопясь, с достоинством, ушел в тайгу. Показалось, что даже башкой покачал с досады. А я жив остался. Так-то мне не жалко, смородину, малину пусть рвет ходит, но он ведь, засранец, яблони ломает. Осенью явился прямо в сад, Тайга, (собака Клюни, лайка) прямо охрипла, а он обнял ствол, как электрик, трещит ветками, только лапой иногда отмахивается и чавкает, кайфует, глаза прикрыв. Недавно опять приходил, я взял в валенке порох сжег и отнес туда, за сад. Недели две уже не было. Зато рысь двух котов утащила, остался один. Вот он, шкура. Кунак зовут. А умный, паскуда. Живых змей мне приносит. Бросит под ноги, на, мол, хозяин. Жри, добыча.

За час разговоров, пока мы угощались тушеным в моркови хариусом с лапшой «Доширак», Клюня даже не поинтересовался у меня, кто я и зачем вообще сюда приперся. Достаточно было имени. Бубнил что-то радиоприемник на аккумуляторных батареях. В задней избе стояли старинные койки с металлическими шишками, шкаф. К створкам трюмо были прикреплены вырезанные давным-давно

из советских журналов портреты Ленина, Сталина и, ясное дело, Лукашенко.

Потом мы шли с ним какими-то неведомыми тропами к северному маяку, в руке его, будто у калика перехожего, была крепкая ореховая палка для пеших походов.

— Алексей Иваныч, как вы тут оказались-то? – сказал я ему в спину.

— Эк, ты хватнул, – остановился, усмехнулся. – Это все равно, что про монголо-татар вспоминать. Мы сюда приехали в 1952-м. Здесь у матери брат во время войны погиб, поэтому из всех предложенных мест выбрали именно это. А вообще же на остров направляли спецпереселенцев, – говорит он, пренебрегая тропой, идет рядом, по травам. – В основном тех, кто не выполнял нормы по трудодням. Русские, белорусы, хохлы, татары, карелы, киргизы, эстонцы, литовцы, немцы, евреи. Даже финны были, только уже наши, советские. Шутка ли, три деревни, почти полторы тысячи человек. Как мы тут весело жили! Чума! Клуб был. Случались, конечно, драки. Но в основном, кто кого любил, тот с тем и шел.

По слегам преодолели болото.

— А я тогда зда-аровый был бычара. Дизель делали мужики, а я им деталь в сорок килограмм одной рукой подавал. Один раз комсорг увидел, рассказал в правлении. Вызывают меня туда в Пятикарну. Будешь в соревнованиях участвовать сегодня. Ладно, говорю. Чего нам, кабанам. Пришли на стадион, а я в кальсонах под штанами. Ну, гири потягать дали, сказали, только рубаху сними, а это же двоеборье, надо потом стометровку бежать. Там ни в какую. В кальсонах не выпускают. Девчонка знакомая подходит, шепчет на ухо: «Я сегодня новые трусики надела, давай тебе их отдам, ты пробежишь, и обратно вернешь». Я понимаю, что идиотизм, но как колхоз родной подставишь? Пошли мы, значит, в туалет. А там между мужским и женским стенка не до потолка была. Прогал. Я ей кальсоны передал, она мне эти трусики свои.

— Рейтузы?

— Зачем? Обычные, голубенькие такие. Из ситеца. И вот я в них как дал жару! Рекорд района десять лет держался. Сделал круг почета и опять к туалету. А там, у женского, уже очередь, злятся «Что за засранка там уселась» – орут. Смех один. И, знаешь, как было. Легкоатлетам платили командировочные 25 рублей, а двоеборцам – 50. Мы ели в дешевой столовой на деньги нашего руководителя Толи, а потом на мои шли пиво в парк пить. И все чинно, без шума и наглежа.

Он надолго задумывается. Лес обступает нас по обеим сторонам. Сосны кажутся берегами, а небо -рекой. На дальнем озере плачет выпь, как будто в горлышко пустой бутылки дует.

— А потом я сел на три года.

— В смысле? Мотал?

— Ну, да. Будильник одному члену партии об башку разбил.

— Насмерть?

— Будильник да. Его покалечил изрядно. Он ходил такой борзый, везде был прихват, ногу винтом загибать умел. Пришел в один дом, а там мы сидим с девчонками, мирно беседуем. И он одной говорит, опять п..ду на выданье принесла. Представляешь, при всех. А я же шебутной, рьяный. Хотя она и не подружка мне совсем была.

В тюрьме Клюне понравилось.

— Кормили как на убой, деньги всегда имелись. Я мог пойти в магазин и купить себе, допустим, костюм. Или пальто. А если мне не глянется ничего, выбрать материал и сшить в мастерской. Спортивная площадка, тренажеры всякие. Выходной – только твой день. Хочешь – спи, хочешь по городу шатайся.

— Это где такой был непридуманный рай?

— В Желтых водах, Донецкая область. Там уран добывали. Потом, при Ельцине демократы везде трындели, что его извлекали заключенные. Да ни хрена подобного, уран добывали добровольцы. Заключенные строили им жилье. И какие это были квартиры! Хоромы! Если холостой – то двухкомнатная невероятной планировки, если – женатый- апартаменты. Правда, больше полугода из них мало там кто тянул. Пятки гнить у живых начинали. Глядь, а в холостяцкой квартире уже другой живет. Такой же. Выходило, что мы строили тот город для покойников. Тогда не знали, что такое этот уран, и куда он вообще нужен. Что ты, мне девятнадцать лет всего было. Я думал такие чудесные тюрьмы у нас везде.

Мы выходим к маяку, трогаем его теплые из кованого железа бока, усаживаемся на пригорке.

Тихо. Пейзаж – как будто старый коврик, помотавшийся по коммуналкам, к горизонту невидимыми гвоздиками приколотили. Вдалеке на фоне полярного выгоревшего солнца, тарахтел маленький баркас с мигающим зеленым огоньком на борту.

4

До сороковых годов остров Манстинсаари принадлежал финнам.

— Мой сват здесь пулю в задницу схлопотал, – говорит Клюня. – Я его спрашиваю: ты, что тикал, дядь Вась? Финны же знали каждую тропку тут, и сколько здесь их сил было собрано, наши даже не догадывались. Чего только стоят их знаменитые «кукушки». Снайперы. Залазили под пургу на деревья, чтоб следов не оставлять и ждали, подпускали поближе. Отсюда нельзя было взять остров, с Пятикарны – тоже. Для финнов Мантсинсаари был чем-то вроде нашей Брестской крепости. Он не был отдан врагу, то есть нам, ни во время советско-финской войны, ни во время Великой Отечественной. Наши уже ушли далеко на север, а взять Мантсинсаари так и не удавалось. Дальнобойные орудия, расположенные на острове, били по печально знаменитой Дороге жизни. Я знаю, где лежат 380 наших десантников.

— Откуда?

— Рассказываю такой случай. Лет пятнадцать назад приезжает ко мне в гости с финнами ихний батюшка, то есть поп. Ну, приехал и приехал, я свозил их на кладбище. Выпили. И тут он говорит, что был тем самым финским командиром, который, по приказу, естественно, расстреливал наш десант. «Мы им кричали, русские сдавайтесь. Но разве русские сдадутся. У них и оружия – то совсем не было, автоматы с рожками, да пулеметы. Они многого не учли, а может, просто хотели отвлечь нас на этот край, наделать шуму. Маленького роста почти все, плавать не умели, мало кто выбрался на берег». В общей сложности на разных берегах, кажется, 800 человек полегло. Но сколько я не пытался, не писал в военкомат – давайте, говорю, хоть крест памятный поставим. Бесполезно.

Остров финны отдали лишь в порядке общей капитуляции в 1944 году.

Здесь до сих пор целы военные объекты: 2 бетонных пулеметных дзота, 2 огневые точки для дальнобойных орудий, бункер командного пункта, казармы, баня, стрельбище и даже казино для офицеров. Эти памятники большой человеческой вражды сохранились гораздо лучше, чем брошенные деревянные дома мирных жителей.

— Я знал русскую женщину, которая была в плену у финнов. Она рассказывала, что их было несколько человек. Финка посылала их за ягодами, но каждый раз, как они возвращались, проверяла язык. Если синий или красный била. А они молодые, есть-то хотелось. И вот придумали, одна ложится на траву навзничь, а другие ей ягоды прямо в горло закидывают. Я к ним, к финнам, честно говоря, не очень хорошо отношусь. Они ко мне тоже. Они относятся ко мне как к оккупанту.

— Но привечаете же их?

— Ну, да. А я всех принимаю. Жалко, что ли. Зек беглый как-то приходил. Я же сразу просек, кто он. Говорю, дорогой мой, я тебя сдавать не буду, три дня ешь, пей, чем бог послал, ночуй, а потом, как пришел, так и уходи. Ушел. И свидетели эти Иеговы были. Дули мне в уши. Я говорю: ребята, я крещенный, хоть и ненавижу попов. Это с детства у меня. Когда крестили, я вцепился батюшке в бороду, а он меня выкинул в окно. Я в бога верую, а не в попов.. И эти приходят каждый год в августе, как их, изотереки. Они любят на озере чакры свои чистить. Голышом купаются, мать их. Всегда меня зовут, когда концерт устраивают. И, главное, за собой потом все убирают. Ни соринки. А финны любят приезжать тоже, да. Я для них вроде диковинной зверушки, шута, скомороха. Ну, и пусть. Правда, бывает, поступают и серьезные предложения. Одна все звала меня. Муж у ней умер. Фермер. И ей нужен был хозяин. Я не мог ей сразу отказать, говорю, подумать надо. Приезжает через год, подумал? Я говорю, ты же со мной там сбесишься. Я до работы дурной, но я вольный. Этот, как его менталитет не совпадает. Приезжает правнучка хозяина моего дома. Аня. То топор мне привезет, то пилу. Я уж стар для нее. Сыну говорил, смотри какая веселая. Дурень, приударь. А он сопли жевал. Аа, – машет рукой Алексей Иваныч. Встает с травы. Мы трогаемся в обратный путь, но уже другой дорогой, через заросли конского щавеля.

— Я ей говорю, у нас бы звали тебя Анечка. Она так хохотала. У них же нет уменьшительно-ласкательных имен. У них вообще – чума. Один приезжает, рассказывает, разбогател. Спрашиваю, как? Дом дочке продал. Хм.

— А здесь ведь еще один маяк?

— Да на юге. Финны лет триста назад строили. Но тот кирпичный, капитальный.

— Кто же обслуживает?

— Сами же мариманы, аккумуляторы привозят, потом врубают дистанционно.

После Желтых вод Алексей Иванович вернулся на остров. Работал трактористом, паромщиком. Уходил под лед вместе с МТЗ-50, дрался с начальством, получил партбилет, был крепким общественником.

— Я всегда дурной был до работы. А надо было больше внимания жене уделять. Ведь никогда не бывает виноват кто-то один в разладе. Ладно, – машет он пятерней.

5

Тусклая белая ночь. Остров весь звенит от голосов птиц. Присутствие рядом большой воды умножает все запахи до одури. Алексей Иваныч приносит из сеней большую бутыль, в которой колышется жидкость.

— Спирт? – интересуюсь я.

— Медицинский,- кряхтит он, выдирая зубами из тары скомканную газету. Отплевывает крупинки.– Извини, дерьмом я те поить не буду.

Химичит потом с мерной бутылочкой, разбавляет.

Выпили, по одной, ждем. Тихое счастье уселось, как кот, на загривке.

Клюня несет альбомы с фотографиями.

Вот он штангу жмет 150 кг. Вот с косой идет на покос. Из трактора чумазый торчит.

Вечерняя деревня, вся в огнях. Танцы вприсядку среди стогов сена.

— А сколько детей у вас, Алексей Иваныч?

— Пять. От первой жены сын, и от второй четверо. Но вишь, не заладилось. Поэтому тут и живу, – лукавит он. –Не, я знал, что моя вторая жена блядовала. И знал с кем. Один из них брат мой был. Я пошел в храм и поставил каждому семь свечек за упокой. И, представляешь, друг за другом ушли. Оба.

— Куда?

— Куда, куда, к богу. И жена слегла. Я потом отмолил ее. Но она так ничего и не поняла.

Конечно, езжу, она тут в Миноле на берегу живет, квартира, все нормально. Ладно. Все. Закрыли тему. Не грузи меня. Знаю, что грех на мне.

— Вы же коммунист, даже флаги красные, говорят, над избой развешивали до недавнего времени.

— Да, развешивал. И еще бы повесил. Только кончились флаги. Вова, я под красным флагом родился, под ним и помру. Только к нынешним коммунякам никакого не имею отношения.

— История вашей ненависти с финном, живущим до недавнего времени здесь, обошла чуть ли не все газеты.

— Да, это журналистам надо было. Мол, финский остров, теперь наш, финн и белорус, вместо того, чтобы пить водку, ненавидят друг друга. А никакой ненависти не было. Просто я люблю поговорить, а Мати молчун. Он со своих за баню брал по пять евро, а за трактором, чтобы свозить финнов на их кладбище приходил ко мне. Разные у нас менталитеты, Вова. Ну, ему не нравилось, что ко мне постоянно кто-то ездит, что я барабан себе из бочки сделал, чтобы медведей отпугивать,

что флаг красный повесил. Да ради бога. Я шебутной. Ты слышал, я же тут в перестроечные годы партию свою создал. Уникальная была партия, которая называлась «Советская демократия». В нее входил я один. А надо мне было это для того, чтобы получить землю в аренду. Казалось, я просек все эти игрушки. Хотел стать фермером. Три раза ездил в Москву и, в общем-то, добился своего.

Районное начальство приказ сверху исполнило, землю Клюне выделили. Но в отместку оголтелому демократу тут же обрубили все возможности сбывать молоко и мясо. Все, что они с сыном заработали за два года, – две тысячи рублей долга. Как память о тех временах у Клюни остался трактор, на котором он кого только не возил по острову. Финны прозвали его дядя Леша Андеграунд. Это потому что Алексей Иванович выполнял на острове функцию метро.

Последние четверть века Алексей Иванович трудился на острове егерем. И опять прославился своей норовистостью.

— За яйца чаек, допустим, я никого не брал. За утку в несезон протокол даже не составлял. Но предупреждал. Тут все мое слово знают.

И кулаки. Однажды Алексей Иванович победил в боксерском поединке некоего начальника рыбзавода по кличке Рыжий. Они сошлись без ружей, но, ошалевший от левых боковых Клюни, Рыжий в порыве ярости схватился за лом. Этот лом до сих пор стоит у Клюни в сарае. Потом все проезжающие мимо моряки поили дядю Лешу до отвала.

А не так давно по ошибке у него застрелили вместо лося любимого коня Алмаза. Который ходил за ним по пятам, как собака. Клюня устроил коню пышные похороны, чем поверг соседа финна в депрессию.

— Многое могу простить, но не это, – говорит чуть захмелевший Клюня. – Я знаю, кто это сделал. Один бандит. Мне не нужны 40 тыщ. Он еще сюда явится.

— И что вы сделаете?

— Так же ошибусь. Люди только спасибо скажут.

— Ну... сядете.

— Хм. А мне-то жить осталось. Самое большее пять лет. Батя во сне приходил, плакал. Я ему говорю: ты чего? А он: чтоб тебе, дурню, жизнь продлить. И обещал мне 80 лет, если, конечно, пить меньше буду. Я уже всех клюней пережил. Так долго никто в моем роду из мужиков не тянул.

Когда укладываемся спать, он у окошка, где Ленин, Сталин и Лукашенко. Я у печки, Алексей Иванович говорит:

— Знаешь, а у меня живет домовой.

— Не исключено, – бубню я.

— Я прямо уверен, что он есть. Зовут его Гоша. Когда я прихожу с тяжелыми ведрами, Гоша открывает мне дверь. Одеяло поправляет. Злых людей в дом не впускает, они просто останавливаются у порога и не могут войти. Хороший домовой, добрый, потому что и я не злой. Вот только пукает иногда.

Зеленчукский авиатор

Так бывает: задумаешь написать о чем-либо или о ком-либо, ходишь, крутишь в голове тему, и раскаленное твое биополе начинает подсовывать в масть этой теме персонажей. Мы приехали в Карачаево-Черкесию, чтоб рассказать об одном казаке из станицы. В одиночку, в своем гараже, не имея ни конструкторского образования, ни серийных деталей, он сооружает самолеты и вертолеты. И не просто сооружает на потеху публике, но и летает на них.

Однако прежде, чем мы добрались до него, нам встретился другой демиург неба. Тип совершенно улетный. Серебристая щетина, кепка-аэродром. Он поджидал нас у буфета под чахлой чалой. Мы пили зеленый чай и вяло торговались о стоимости переброски нас на его авто до нужного пункта.

— Ай, ладно, угаварил, поехали, – хлопнул он ладонью об ладонь, как будто только что проиграл в карты породистого скакуна.

Потом на крашенной в разные цвета «Ниве» мы мчали по просторам кавказской республики. Шерстяные пумпоны овец шевелили горы.

— Не печалься, дарагой, – будто тост произносил веселый черкес, поправлял кепку. – Щас вершина поднимемся- оттуда на взлет пойдем.

Ему постоянно кто-то звонил. Он бросал руль, искал по карманам телефон и буйствовал:

— Что ты на меня орешь, э-э? Крутую машину купил, папа не нужен стал, да? Начальник орет, жена орет, ты еще. Надоели вы мне, возьму кинжял, уйду гори. И там умру.

Он выдерживал паузу, в которой должна была читаться, по крайней мере, обида, и ставил жирную точку:

— Я умру, кто родину любить будет?

— У нас тут все летчики, – разузнав о цели приезда, вещал он. – Брат мой на тепловозе в Джигуте – летчик. Ой, так летает. Серьезно тебе говорю. Душа просит. Я летал в ущелье один раз. Машина Уазик был.

«Нива» наша дребезжала, чихала, но со склонов стрелка отклонялась до 160. Мы вспоминали близких. С высоты села под нами казались фотографией со спутника. Расшугав по станице кур, наш таксист картинно притормозил у забора, обдал пылью флегматично жующего кукурузные листья мула и сказал:

— Сорок минут – 120 километров. Рекорд. Тыща триста с вас.

— Ты же говорил шестьсот?

— Ай, маладец. Ну и память у тебя, слущай? – заулыбался он. – Как у брата моего. Серьезно тебе говорю.

День обещал еще несколько часов света. С заборов свисали понурые головы теплых подсолнухов. Дом конструктора-самоучки Василия Алексеевича Свербиля был заперт на амбарный замок. На наш стук из ворот выкатился круглый щенок и затявкал. Урча, стал грызть нос моего кеда. Тут вдруг из-за поворота вылетел на приличной скорости какой-то странной конструкции джип. Из него выше загорелый человек, спросил:

— Вы, что ли, из меня героя приехали делать?

Мы сидели в прохладном его доме, зачерпывали из ведра кружками колодезную воду. На тканых половиках от заходящего солнца лежал косой прямоугольник окна, в нем чуть колебались темные ветки дерева. В комнате стоял стол, покрытый велюровой скатертью, диван, шкаф, туго набитый книгами. В углу молчал аккордеон. Некоторые кнопки на нем были заиграны до желтизны октябрьских листьев. Остальные белы, точно предгорья Эльбруса. Просто на аккордеоне Василий Алексеевич исполняет одну только песню. Из Бумбараша. Под названием «Думы окаянные». Других играть он не умеет.

Ему неловко перед гостями, которые есть не хотят, и ждут от него не то юродства, не то стеба над собой. А он не умеет ни того, ни другого. И про себя вообще не формулирует: какой он?

— Когда я был маленький, ну, я думал, что у людей все такими периодами. Сначала они маленькие, потом взрослые, потом опять маленькие, потом опять взрослые. А когда понял, что мы стареем и умираем, расстроился. Но однажды стоял в саду и надо мной пролетел маленький, игрушечный самолетик. Откуда? В то время, после войны, а тем более здесь в станице, где верхом технического прогресса являлась жестяная банка из-под гуталина? Сон это был или явь? До сих пор не знаю. Но он пролетел.

— И тогда вы решили, что будете летать.

— Вроде того. Тогда казалось все таким простым. Как кусок мяса. Берешь его, отбиваешь и на сковородку. Жаришь с одной стороны, с другой. Следи только, чтоб не подгорело. А почему-то чаще всего приходилось есть всякую дрянь, – улыбается он. – Вот и я всю жизнь водителем был. Но я доволен. Мне та работа кусок хлеба давала.

Колесил он на легковых и грузовиках. Возил зерно, шкуры, детали для одного из заводов, людей. И, как маньяк, лелеял в себе возможность полета.

Свербиль не терся возле летчиков колхозной авиации, не канючил, ну дай хоть одним глазком взглянуть в салон кукурузника. Он говорит, что никогда там и не был. И вообще, до того, как поднялся в небо на собственной конструкции, летал только мысленно. Лопатя по ночам соответствующую литературу. Если все книги собрать – трактор с прицепом получится, улыбается он. Его время пришло, когда стала рушиться родина. Та, в которой он до этого жил. Завод, где служил Василий Алексеевич загнулся и дал свободу его рукам и голове.

— А детали откуда брали?

— Покупал в колхозах. Они разваливались, малая авиация стала никому не нужна. И мне запросто или за бутылку втихаря отдавали. Им это было уже ни к чему. А я приспособил. Списывался с такими же чокнутыми, как я, обменивал…Книжки опять же у летчиков брал по устройству. Конечно, если взять те чертежи, что делал я, и показать их человеку знающему, он скажет: бред. Как это? Естественно, азы какие-то были. Из книжек тех же научился рассчитывать центр тяжести, учитывать воздушные потоки в планировке. Но иногда тех деталей, что требовались, просто не было. Я брал другие, которые могли выполнить схожие функции.

Свербилю приходилось держать целый скотный двор. Коров, гусей, свиней, кур. Мычание и хрюканье были ему аккомпонементом, когда он в гараже точил, клепал, обрамлял свой сорокасильный «Запорожец» в самолет.

— А что же жена? Как она относилась к вашему занятию?

— Нормально, – вскидывает он глаза. – У нас с ней бывают, конечно, трения. Но в гараже она меня никогда не донимала.

И когда она накрывала на стол – сыр, чай, печенье – было отчетливо видно, что не пилит, не брюзжит.

Василий Алексеевич говорит, что в любовь, как в награду не верит. По его мнению, это такая же работа, как выгребать тот самый навоз или подстригать засохшие ветки вишни. Нельзя сесть в саду под сень и блаженствовать так вечно. А кто будет эту вишню потом собирать? Чехов, что ли?

День, когда отворил наотмашь ворота, он помнит до сих пор. Как руки тряслись, когда он цеплял к своему джипу самолет. Как бешено колотилось внутри, как ноги почему-то становились ватными. За станицей, в долине, где он собирался испытывать самолет, собралась куча народу.

— Вот режиссер Герман, говорит, что настоящее кино может снять только тот, кто внутренне вполне готов пустить себе пулю в лоб, если у него что-то не получается. Вот и у меня тогда в темени стучало: если уж суждено грохнуться, то грохнуться насмерть.

Но самолет разбежался, вляпавшись в несколько коровьих лепешек, и, качнувшись, оторвался от травы. Станичники застыли, как вкопанныек. И вдруг, когда самолет пролетал над ними, сквозь рев мотора от «Запорожца» все услышали, как Свербиль поет.

— А почему потом стали делать вертолеты?

— Дак ведь в самолете все устроено так, чтоб он летал. Его толкни – он и парит. Вертолет – дело другое. Там же все вопреки. Знаете, – сказал он, помолчав, – вот вроде железяка железякой. Возишься с ней, с холодной. И вдруг прямо мурашки по спине: чувствуешь, как железяка эта, словно полено папы Карло, начинает дышать. Я вертолеты те сначала, как щенков, обучал. Ездить, взлетать. И они меня научили многому. Не ерепениться, не дергаться, не суетиться. Раньше я с механизмами как работал? Заводи – поехали. Не заводится? Поехали, потом заведем. С вертолетами так нельзя. Его ты должен не только, извините, попой чувствовать.

Шамиль Басаев уходил по здешним перевалам на Сванетию. Федералы прочесывали местность. И вот летят на Ми-8, смотрят: что за черт?! В одном из садов станицы Зеленчукской стоит какая-то нелепость с лопастями. Не то вертолет, не то пепелац из «Кин-дза-дзы». Снизились. Рассредоточились. Одна группа залегла в копнах сена. Несколько человек трусцой, пригнувшись к земле и чуть бряцая автоматами, продвигались вдоль заборов по улице. У одной из хат сидела старуха. Так же, тихонько бряцая спицами друг о дружку, вязала левый носок из овечьей шерсти.

— Бандиты в деревне есть? – тихо поинтересовались военные.

Она взглянула на них поверх очков и строго ответила:

— Так мне почем знать. Я ж не разведчик.

— Тогда чей вертолет вон в том саду стоит?

— А, это… Васьки Свербиля, опять принялась за носок бабуся. У него их чи штуки три уже. С ума сошел на старости, вот и ляпает. Я думала вы по какому серьезному поводу маски эти напялили, и за таку даль приперлись. Например, насчет самогонщиков. Их тут трое. Вон в том крайнем дворе, на заречье и возле магазина гонят.

Ребята, конечно, «Сикорского» нашли. Глянули на вертолет и спросили:

— Неужто летает?

— Так идемте, – ответил Василий Алексеевич.

— Не, – замахали руками те. – Слушай, а чего у него винт такой странный? – спросил один дотошный. – Он у тебя че, в другую сторону, что ли, крутится?

— Ага, – с жадностью зацепившись за человека понятливого, довольно улыбнулся Свербиль. – Обе лопасти одинаковые нашел. Других не было. Думаю, не выкидывать же, вот винт у меня влево и крутится. Они посмеялись, но очень настоятельно рекомендовали, чтоб я от него избавился.

— Порезали?

— Не. Продал. Фермеру одному из Ростова. Он на него лецензию приобрел, тракториста своего обучил. До сих пор поля удобряет. Я ведь и распылитель к нему сделал точечный. Не чета тому, что на кукурузниках стояли. Они как? Ухнут – куда больше летит, куда совсем с гулькин нос. Вот рожь с одной стороны и желтеет, а с другой сорняком зарастает. А потом я еще сделал, усмехается Василий Алексеевич. Через год. И тоже с со штангами, распылителем. До сих пор в станице знакомым картошку обрабатываю. Правда, бензину жрет много. Час полета – 70 литров.

Эти штанги для Свербиля некое такое прикрытие, что ли. Ведь если б летал он так, без надобности, праздно, в станице б сказали, что он, мол, блажит. А тут вроде как делом занят.

— И ни разу не отказывали механизмы?

Его натренированному фатализму позавидует камикадзе:

— Три раза бился так, что по чертежам собирали. Сперва меня, потом я вертолет. Но ничего, живой же. Как только оклемывался – собирал новый.– Даже приходилось повоевать маленько.

— Это как?

— Да как. Вечером полетал, двигатель еще пищал, не остыл. Подъезжают верхом на лошадях четверо. А сами пьяные в дым. Я вожусь там с вертолетом, а они: давай, говорят, в Пятигорск полетим. Я им: «Вы че, мужики? Ошалели?» Только тут заметил у одного за спиной автомат. Втолкнули в кабину, стали там выключателями щелкать.

— А вы?

— А чего я? Я же дрался раньше неплохо. Ну, врезал одному в челюсть. Он отлетел.. Они стрелять стали. Я вертолет завел, поднялся – и вираж заложил, на них. Они на лошадей – и от меня. Целый детектив с погоней. Догнал, хотел на куски винтом порубать. Но Бог как-то отвел. Вертолет не помню как посадил, колотило всего. И уснул. Не пьяный

был, но как садился – убей, не вспомню. Раньше тут вообще весело было. Местные парни куролесили. Наша, говорят, земля, а вы вон отсюда. Я тогда листовки сам писал, чтоб казаков морально поддержать. И с вертолета их сбрасывал. В меня еще раз стреляли. Один раз прилетел, смотрю – в задний винт три пули попали. После этого ко мне Сережа Бодров приезжал, он тогда в программе «Взгляд» работал. Сюжет сделал. Рассказал про вертолеты. Тут погалдели, погалдели. И все заглохло. Да и кому нужен сумасшедший конструктор какой-то. Хотя нет, гляди. – Он поднялся, хрустнул коленями, полез в шкаф, пошелестел страницами истрепанного журнала без обложки. – Читай.

В безымянном журнале рассматривалась проблема малой авиации для нужд сельского хозяйства страны. По словам экспертов, ни в Америке, ни в России, ни вообще где бы то ни было маленьких и дешевых вертолетов и самолетов сейчас не производят. Конструкторским бюро нерентабельно заниматься такими пустяками. Творения моделистов-самоучек, по утверждению автора статьи, ни моральных, ни технических характеристик не выдерживают. Цитата: «Кроме пьяного зависания над землей, дело дальше никак не продвигается».

— Вроде как про меня, – засмеялся он и закашлял в кулак.

Солнце по стремянке горных вершин сползает в долину. Мы идем в сад смотреть вертолет. Мокрая трава, белая капуста. Флюгер на тонкой длинной пике держится за забор натянутыми проволоками. Деревянный самолетик с красным пропеллером застыл, словно парит. Крошечный пилот в нем не виден.

А дальше – вертолет. Стрекоза, застывшая на тропинке. До другого надо ехать на поле, что у гипсового завода. Мы петляем проселками. Джип, на котором едем Василий Алексеевич тоже соорудил сам. К нему выстраивается очередь из окрестных автомобилистов, чтоб убитые машины Свербиль возвратил к жизни. И он возвращает. Даже иномарки правит так, как ни одному капитальному ремонту не под силу.

— А они с меня техническую документацию требуют, – говорит он. – Где я ее возьму? Она же вся у меня здесь, – стучит он легонько указательным пальцем по лбу.

Мы проходим на поле. Собаки тычутся в колени, чихают от пыльцы. Поодаль стоят домики с пчелами.

— Злющие они у тебя, – говорит Свербиль своему приятелю, сторожу. – Прошлый рз одна в шею саданула, другая в щеку.

— Эт не мои, степенно парирует приятель.

— Как это? – подначивает его Свербиль.

— А ты бортовой их номер списал, чтоб мне претензии предъявлять? – серьезничает тот.

Седьмой по счету вертолет с надписью СВ-7 на фюзеляже, укрыт, как стог сена, синей синтетической мешковиной. Василий Алексеевич убирает ее. И перед нами возникает чудо техники. Изящные линии, добродушная «морда», точно у авто 70-х.

Мы заливаем бензин. Свербиль напяливает на себя шлем. Другой протягивает мне.

— Когда сделал первый летающий аппарат, я попытался проследовать тем же маршрутом, которым в детстве надо мной пролетел тот маленький самолетик. И понял, что это невозможно. Там скала.

— То есть это видение было?

— Не знаю, – пожимает Свербиль плечом.

В кабине он щелкнул тумблерами, ветер, ветер стал ерошить макушку копны. Он потянул на себя рычаг, завис ненадолго, и вот мы уже незаметно скользим над стогами.

Вертолет набирает высоту, закладывает вираж над станицей. Линии в ладонях наполняются влагой. От теплого марева земли он раскачивается как дилижанс. Но мы летим.

— Не дрейфь, сынок, – преодолевая шум винтов, подбадривает меня летчик. – Я три раза так бился, что даже кино про другую жизнь показывали. Но ведь живой. Щас турбулентность начнется, вот где будет цыганочка с выходом. Коленку-то отпусти. Я отдергиваю руку.

Внизу по ущельям реками плывет туман. Слева от нас то ли гигантское облако, то ли мираж. И вдруг открывается, что это гора Эльбрус.

Василий Алексеевич сначала сосредоточен, но при этом тихо мурлычет что-то себе под нос. Когда мы делаем круг и возвращаемся, я разбираю знакомый мотив: «Бестолковая любовь, головка забубенная…»

Картежник и поэт

Бывший зек Эдик, который жил со мной в самарской коммуналке на 116-м, имел пять ходок и лет шестьдесят общего сроку. Тюремные замашки терзали его всюду. А уж когда напивался он, то все слова его вообще были сплошная феня. Как-то он разогревал в сковородке котлеты. Сковородка шипела, скворчала и щелкала. Подошел поддатый Эдик и крикнул: «Ша, бля!». Я сам видел, как сковородка умолкла.

Еще было у него зоновское завихрение: ночью вскакивать и куда-то бежать. Чаще он со всего маху влетал в шифоньер, сползал по нему, просыпался и снова ложился.

Но вот однажды у Эдика гостил его кореш. Моряк с Балтики. Видя, как он бьется едва ли не каждую ночь мордой об шкаф, сердобольный, кряжистый мужик, взял и открыл у этого шифоньера двери. И вот кромешной ночью Эдик влетает в этот шкаф, падает вместе с ним на двери и совершенно не может вылезти. Моряк кое-как его оттуда вытаскивает. А Эдик дает ему в морду.

Зимними вечерами, когда трещал за окошком мороз, и казалось, луна вот-вот от стужи расколется, Эдик заходил ко мне с чифиром и рассказывал.

Вот не знаю, выдумывал он что-то из своих этих рассказов или нет. Но дело вовсе не в этом.

Короче, на зоне был он библиотекарем. Книг имел вдосталь. Вся мировая литература была в его ведении. Да впридачу еще газеты.

Из собраний сочинений Ленина, он скручивал цигарки. Да и то сказать: на дерьмовой бумаге вождя не печатали. Правда, Эдик говорил, что произведения его были чересчур едки, и было из них много дыма. Ну и так, кое-что почитывал он.

Незаметно одолел Чехова, Бунина. Чуть-чуть не дочитал собрание сочинений Толстого. И потом – опять-таки эти газеты. Это мощное орудие пролетариата.

В общем, спустя время, стал Эдик за собой замечать, что выдумывает он на основе газетных заметок ли, или от въевшейся классики – некие истории.

Как-то ляпнул, что был в незапамятные времена любовником дочери Брежнева. Рассказал о ней все в деталях. Об этом узнали журналисты. Фотовспышки, диктофоны, телекамеры. Он стал известным. И понял, что на болтовне, оказывается, можно лихо жить. Даже там, за колючкой. Зоновское начальство наблюдало за этим театром абсурда со смехом, и

вначале пыталось рассказать о сказочнике правду. Но затем махнуло на все рукой.

Журналистам вовсе не нужна была сухая протокольная истина. Им нужны были невероятные истории. И Эдик выдумывал их кипами, ворохами. Когда какие-то из них и в самом деле работали, он ощущал себя королем. Служители пера валили к нему валом. Начальство молчаливо то одобряло. Еще бы – им от газетчиков тоже кое-что перепадало – водка, шашлыки, винстоны-шминстоны. И потом – известность.

Эдик за встречу со щелкоперами брал сперва по-божески: литр водки да кило сервелата. Но известность штука сволочная. Она-то ему башку и вскружила. Он стал эпотажным, вальяжным и вообще «жным». Помимо наколки Ленина и девушки нагишом, он как-то взял и сделал себе татуировку на кулаке «Раб КПСС».

Начальство увидело и ахнуло. Его таскали везде. А он все отнекивался, говорил: «Извиняй, начальник. Я Советску власть не хаял. На кулаке, мол, значится мое ремесло. Работаю каменщиком, плотником, слесарем и стропальщиком.»

За эти художества получил он еще три года. Ударился в поэзию. Писал стишки, что-то типа: «Под небом этих разных звезд я видел много разных пезд». Потом его освободили по амнистии. Он вернулся в Самару, на улицу Бакинскую. Там и жили мы с ним по соседству.

— А любовь. Любовь-то была в жизни? Или так и не заломило ничего там, в солнечном сплетенье, не ошпарилось кипяточком? – спросил я как-то его.

— Ох..ть – не встать! – прямо даже обиделся он. – А как же! Я ведь и впрямь был и конюх, и кузнец неплохой. Мотался по разным городам и этим… весям. Знаешь как? Вот еду в поезде. Гляжу на огни, епт. Выпиваю. А ночью встану, дерну стоп-кран – и покатился под откос. Иду в деревню или в город. Снимаю угол, бляха-муха. Куда-нть нанимаюсь. Так месяц, два работаю, потом снова, бля, в поезд. И вот раз еду, значит. Один в купе. Свет не включаю. Сижу, на огонечки любуюсь. И тут щелкает замок, дверь тихонько открывается, входит проводница. Медленно поднимает юбку и впивается мне прямо в губищи, нах. А потом обвивает своими белыми ногами, как веревками. Я ниче понять еще не успел, как она меня зверски оттрахала в такт качания скорого поезда. Хорошо помню, как проносились за окном фонари, как будто огненные шары. И тогда было видно ее красивое с блаженно закрытыми глазами лицо. Соскочившую с плеча лямку лифчика и тяжелую грудь. Потом так же медленно она опустила юбку, собрала в пучок волосы и

тихонько, б…дь, так шепнула: «Кажется, вы чаю хотели?» А я, веришь-нет, никакого чаю и не просил! Пока то се, пока в себя приходил. Никто меня уже давно врасплох не заставал. А тут, как сука рваная сижу, и понять ниче не могу. Метнулся – туда, сюда. А ее нигде нет. Всех проводников разбудил, чуть рожу начальнику поезда не набил. Нет и все. И говорят, никогда такой не было. Я с поезда сошел, искал, искал по всем полустанкам. Х.. там ночевал. Бесполезно. Вот уже 13 лет ищу.

Я цокнул языком, как цыган при виде знатного коня. Но, зная эту страсть к сочинительству, не верил ему. Он сверкнул зло глазами, и стих прочел (весь насквозь матерный), который все эти годы носил за пазухой. Как он говорит, в зоне вечной мерзлоты.

Кит свежий, морской

Деньги еще какие-то были, но билетов на самолет не имелось вовсе. Поездом из Анадыря не доедешь, поэтому мы с местным режиссером массовых действий Славой, как могли, пережидали время. Два раза посещали некие мутные спектакли, ходили в краеведческий музей, а потом принялись за интерактивную игру, придуманную здешними полярниками, надо полагать, тоже не от разухабистого веселья. Называется действо «белый медведь». Штука, в общем, незатейливая. В большую пол-литровую кружку всклень наливается пиво, затем отпивается, а образовавшееся пространство дополняется водкой. И так до тех пор, пока напиток в кружке не станет прозрачным. Это – «белый медведь» приходит. Уходит он, а с ним и все печали, думы окоянные, строго наоборот. На второй день таких испытаний Слава сказал:

— А поехали на Уэлен.

— Для чего?

— Там край земли. – И вообще…

Я оглядел скопление порожней тары на полу, где для прохода оставалась лишь узенькая тропка:

— И так уже, -говорю, – дальше некуда.

Но Слава был настырен:

— Киты там щас, в проливе товарища Беринга, любовь крутят. А чукчи их бьют. Понимаешь? Драма!

Утро на Чукотке пахнет мерзлым бельем, внесенным в помещение с улицы. Мы – русским духом.

Нам везет. Погода благоволит, полный штиль. И вертолет не надо ждать в левом крыле аэропорта неделями. Летим. Небо, как море и можно долго глядеть, как тень МИ восьмого пересекает балки, лощины. Выбирается в тундру. Внизу – пустота на сотни верст, ни зверька, ни человечка, только текут в разных направлениях долгие ручьи неких сиреневых цветов.

Слава спрыгивает с подножки, встает на карачки и картинно целует землю. Отплевывает крупинки, хрипло произносит, оглядывая простор:

— Да, бля…. Дальше только Америка.

Поселок Уэлен ютится на самом крайнем северо-востоке родины, на мысе Дежнева. Около 12 тысяч километров от Москвы, 86 километров до США. Уэлен – адаптированное русскими с чукотского «Увэлен»– «черная земля». Название населенному пункту чукчи дали за торчащие

на ближайшей сопке кромешные бугры, которые видны в любое время года и служили с приснопамятных времен путникам ориентиром.

Указующий перст, галечная коса, шириной в двести метров, как индейская пирога разрезает два океана – Северный Ледовитый и Тихий. Тут особенно очевидна усердная борьба двух стихий: воды и суши. Гигантская земная плита Чукотского полуострова медленно наползает на Аляску, вот-вот нахлобучит. Там, в глубинах постоянно происходят тектонические разломы, которые наглядно иллюстрируют всю хрупкость, неуравновешенность бытия в этой части земного шара. Здесь, скованные морозом в огромные неподвижные поля, льды вдруг начинают наползать друг на друга, крошиться, обнажая трехметровую толщину. То отступают куда-то далеко, оставляя огромные разводья, то опять. Вечное это движение в 80-километровой горловине Берингова пролива делает его чрезвычайно опасным и зимой, и летом. Но и тут люди живут. И давно. Изучая захоронения уэленского могильника, древние стоянки на побережье, ученые определили, что обитаемыми эти места являются около трех тысяч лет.

…Отчетливо теплый июнь. Бродят айсберги. Когда они наползают друг на дружку, получается жалобный скрежет, как если бы железнодорожный состав на медленной скорости преодолевал крутой поворот.

Мы идем разыскивать славиного знакомого старика Элле. Во дворе двухэтажного барака изборожденный канавками морщин эскимос чинит сеть. Развесив ее между качелями и детской горкой, сработанной на манер ракеты «Союз». В нехитрых огородах вросшие в землю железнодорожные контейнеры – подарок Абрамовича жителям Чукотки. Контейнеры выдали людям давно. А вместе с ними и надежду плюнуть на все и уехать когда-нибудь на материк, на Большую Землю. Но проходит год, другой, третий, никто чего-то не едет. Дотащить его до железных дорог – стоит немеряных денег и нечеловеческих усилий. Да и как сорваться, где и кто кого ждет? Еще одним памятником экс-губернатору служат здесь нарядные канадские коттеджи. У Акима Элле такой вот коттедж, но он в нем не живет. Там обитают ездовые собаки. Сам Аким ютится в обустроенном строительном вагончике.

Когда мы являемся, старик в падающем из крохотного оконца свете мастерит из моржовой кости какого-то бога. Маленьким перочинным ножом он придает ему человеческие черты.

— Угадай, кто к тебе? – лыбится Слава, распахнув дверь.

— Со скольки раз? – лукаво щурится от обилия света старик.

И тут же, узнав Славу, колготится, ставит на буржуйку сплющенное туловище чайника.

— Чай- чай, выручай, – говорит Слава.

Подвинув бога на край стола, в шеренгу таких же уже готовых фигурок, мы выкладываем на стол из рюкзаков гостинцы: макароны, спички, водку.

Гоняем чаи, режиссер интересуется:

— Куда ты этих богов-то строгаешь?

— Так это… в Штаты, – говорит дед.- Тут одна художница из Анкориджа приезжала, всех до одного забрала, слышь. Кучу долларов заплатила. Вот столько, – старик сделал небольшой зазор между пальцами. – Закопал в банке.

Некогда изделия уэленских граверов и косторезов гремели по всему миру. До недавнего времени была целая мастерска именитых художников. Косторезы Вуквол, Хухутан, Тукукай, граверы Елена Янка, Мая. Теперь все больше работают на дому. Но изделия сбываются плохо.

Старик же Элле ни дня не работал по трудовой книжке. Сначала пас оленей, добывал нерпу. Затем съездил к шаману, и тот благословил его на то, чтоб богов вырезать. Творения Элле из кости с криками «браво» и даже «ура» приобретались музеями Москвы, Петербурга, Таллина, Дрездена и Рима. Хотя ни в одном из этих городов Аким не был. Его боги были, говорят, в коллекции Брежнева, Ельцина, Ростроповича. Впрочем, и этих людей он никогда в глаза не видел. Когда-то на Уэлен приезжали целые делегации туристов, ученых, музейщиков. Они приобретали продукцию туземцев, какой не было нигде в мире. Аким вырезал животных, сценки охоты, а главное, богов — из клыков, черепа и детородного органа моржа.

Затем туристы и ученые с Запада ездить перестали. Боги любви, достатка, семейного благополучия стали кочевать через пролив на Аляску и дальше в Америку. Говорят, американцы выручают за эти резные кости целые состояния. Но Акиму это до лампочки. Ему-то всего и нужно денег – на покупку новых собак.

Боги Элле иногда охотятся, иногда хулиганят, иногда просто сидят задумчиво.

— Откуда сюжеты? — спрашиваю.

— Так это, слышь. Хожу с ружьецом на птичьи базары, в океан хожу на нерпу, а потом вот еще, — он шарит в углу под прелыми сетями и выуживает оттуда бутыль.

— Кыхтым, – гладит ей бок .

— Кыхтым – это..?

— Настойка из трав и сухих мухоморов. Ее больше глотка нельзя. Умрешь, может.

— Вштыривает? — хохочет Слава.

— Боги приходят, – коротко отвечает Аким. – Налить?

— Не, – машу руками.

— Тогда уж и я не буду, – вздыхает Слава.

Вечером идем к участковому отмечаться. Рядом граница, до Аляски восемьдесят шесть километров. По дороге встречаем мужиков с ружьями наперевес.

— Куда это они, на ночь глядя? – интересуюсь у Акима

— Зарплата, однако, – буднично отвечает старик.

— А ружья зачем?

— Без ружья не дадут.

— ?

— Карабин сдать надо. Тогда деньги тебе, – говорит абориген.

Столь экзотический ритуал ввел несколько лет назад местный участковый. Зовут его Арон Аветисян.

— Устал я, – говорит он, заперев в подвале сельской администрации двустволки. – Возьму кинжал, уйду в горы.

В окрестностях Уэлена гор нет, древние кладбища кругом, сопки. Но Арон так всегда говорит – в день зарплаты зверобойной артели, которая добывает моржей, нерпу. Когда-то здесь таких артелей было около десяти, сейчас одна, и та на ладан дышит. Кроме этого имелся крупнейший оленеводческий совхоз «Герой труда». Сегодня его пытаются раскрутить снова, но оленей осталось мало, а еще меньше тех, кто хотел бы их пасти.

Арон заводит вездеход, принадлежащий некогда полярникам, и мы мчимся к его вагончику на броне. Водительские права в этом поселке есть только у него, хотя различного рода сельхозтехника: тракторы, грузовики или мотоциклы имеются у многих

— Для чего ружья отнимаете?– интервьюирую его я в люк.

— Завтра отдам, отвечает Арон. – Если придут.

По мнению участкового, эскимосам и чукчам деньги вредны. Получив зарплату, они покупают самогон и съезжают с катушек.

— Дурные становятся, прямо в голову себе стреляют, понимаешь? Суицид называется. На Чукотке ба-альшой суицид. Поэтому я у них карабин забираю. Утром придешь – получи, дарагой.

— И что, кто-то не приходит?

— Много, брат… Сам их ищу: на свой карабин, распишись! А он третий день лык не вяжет… Улыбается сам себе, бормочет под нос, не разберешь. Устал я как мама быть. В магазине запретил им водку торговать. Так они самогон покупают. Тут королей самогонных, знаешь, сколько? Вай! Семь, наверно.

— Чукчи и эскимосы стали самогон варить?

— Нет, русские. Полярник, артельщик. Когда станции закрылись, он стал самогон варить. А что делать, брат? На Большую землю? Кто его ждет? А тут семья, гарнитур, шифоньер. Только работа нет. Поэтому самогон гнать. И продавать. Понимаешь?

Арон тормозит у своего вагончика — точно такого же, как у Акима.

— А почему люди в канадских коттеджах упорно жить не хотят?– пытаю участкового.

— Когда шторм, даже маленький, он так дребезжит, что жизнь, вай, медным укрылась как будто! Стра-ашно, как в гробе. Собрали не так, знаешь. Половину деталей украли, брат.

Всю утварь в вагончике Арон Аветисян обклеил маленькими бумажками. На бумажках чужеземные, выведенные ручкой, слова. Так он учит английский.

— Контракт заканчивается, – поясняет он. – Уеду, надо чужой язык знать.

— Далеко?

— В Югославия поеду, дарагой. Миротворцем.

Слава объясняет участковому, что страны Югославии давно нет и миротворцев в ней, в общем-то, тоже.

— Тогда Африка, — ничуть не смутившись, говорит Арон Аветисян. – Армения не могу, брат, я этот, как его, отщепенец.

Один участковый на три поселка – Уэлен, Иночун, Энурим – Арон Аветисян родом из добропорядочной армянской семьи. Отец – начальник большого ереванского гастронома, мать – заведующая стратегическим холодильником для нужд государства. Три брата занимают ведущие посты на железной дороге. Арон с детства любил читать, «отравился», говорит, «проклятым романтиком». Окончил техникум и махнул связистом на полярную станцию. Отец крепко осерчал. Слал сыну письма, которые начинались так: «Арон, дарагой, рад видеть тебя». Оканчивались письма тоже всегда одинаково: «Ты уехал, и мы плачем по тебе. Мама – три раза в день. Я – четыре. Братья – не переставая. Приезжай, дурная башка». Потом письма приходить перестали.

Когда закрылась полярная станция, он подался в участковые.

— Уеду, – повторяет Арон. Холодно тут. Ученые говорят: глобальное потепление. Пусть сюда едет, на Чукотка. А я – в Африка.

Полярный день никак не заканчивался, айсберги ушли куда-то всей большой стаей. Размытое двумя океанами солнце прокладывает тусклую дорожку по воде в Америку. Кажется, иди по ней и допехаешь до благополучной стороны планеты…

Следующим днем на косе, уходящей в пролив, почти цыганский переполох. Женщины, дети, старики, собаки и бакланы провожают артель из семи вельботов на китовую охоту. Мы тоже стоим поодаль. Лодки хоть и с мощными японскими моторами, но долго не исчезают из виду. Они качаются над нашими головами черными точками. Океан как будто касается неба. Но почему-то не проливается. Люди постепенно расходятся. На берегу остается лишь эскимос Витя Хагдаев. Он дежурный по трактору. Если охота будет удачной, Витя подцепит кита за хвост и вытащит своим «Кировцем» на берег.

Часы тянутся в ожидании, и мы уговариваем Витю, пока не вернулись охотники, прокатить нас по студеному морю. Вельбот взбирается на бугры волн, цвета фашистской шинели, натужно, с ревом, потом падаем вниз, обмирая. У недействующего маяка-памятника на мысе Дежнева Витя делает разворот. Мы сидим плечом к плечу с биологом Олей. Она из Анадыря, изучает жизнь тутошних насекомых.

— Дежнев почти на сто лет раньше Беринга открыл этот пролив, — преодолевая шум винта, говорит мне в ухо Оля.

— Чего же он именем Беринга тогда называется? – наклоняюсь я к ней.

— Ну, Дежнев открыл себе и открыл, думал, про это весь мир узнает. А Беринг, что называется, подсуетился, сам лично доклад в географическое общество отнес.

Ее висок пахнет сенокосами. Брызги застилают глаза. Губы соленые.

На обратном пути Витя завозит нас «во вчера». Машет руками, показывает на часы, мол, здесь другое совсем число. И мы глазами, полными глазами воды, словно обезумевшие от счастья, киваем, дураки дураками.

— Киты! – глушит мотор Витя.

И точно! На фоне ледяных, синих, ужасающих волн далеко-далеко две блестки. Вверх-вниз. И вдруг совсем рядом выныривают, запускают в небо фонтаны, танцуют, что ли?

— Е-мае, – ликует Слава, пытается фотографировать, но болтанка такая, что он едва не сваливается за борт.

Огромные млекопитающие трутся друг об дружку, как вчерашние айсберги, как лошади в гон, хороводят.

Нас относит, Витя запускает мотор с пятой попытки. Очумевшие, все молчат. Медленно причаливаем. По полосе отлива бежит на встречу большой лохматый пес. Приседает, крутится юлой, радуется.

— Иногда кит уносит лодку охотника далеко, – почему-то говорит Витя. – Или под воду.

— То есть, ты хочешь сказать, что это честная дуэль? – соображает Слава.

— Да, – машет тот свалявшейся шевелюрой. – Очень не просто. Если далеко, людей о скалы бьет, там берег крутой.

— Часто?

— Да. Некоторые выживают, идут, идут, приходят, а их гонят… Раньше убивали.

— Отчего же? Люди ведь спаслись, домой вернулись, здравствуй, родная – раскручивает его Слава.

— Не-е, – закуривает Витя. – Их кит забрал, они становятся тереками, отверженными. Настоящий охотник погиб, а это дух, злой дух ходит. Он за людьми охотится и может унести в злой мир.

— Дикий вы все-таки народ…

— Да, да, – машет опять головой Витя и улыбается широко, разухабисто. Витя рассказывает нам случай, который приключился с одним из здешних зверобоев. В 30-е годы на льдине унесло охотника Ульгуна. Люди похоронили его в своих мыслях. Двое малолетних детей остались сиротами, жена вдовой. В 1992 году, когда была открыта граница между Россией и США, прилетела в Уэлен пожилая женщина из Канады. Сносно говорила по-чукотски, расспрашивала об охотнике Ульгуне. Нашли старейшину. Он вспомнил, что охотника унесло на льдине и он погиб, а дети его рано поумирали – жилось им бедно, трудно. Тут-то и выяснилось, что женщина из Канады – дочь погибшего охотника. Оказывается, тогда, в 30-е, льдину с охотником прибило к берегам Канады. Его подобрали местные инуиты (эскимосы), выходили. Поскольку возвращаться на родину зверобой не мог, женился и жил себе, охотился. Только в сторону другого берега глядел часто, задумчиво и часто носом шмыгал.

Слава шастает по горловине косы, потом становится, раздвинув ноги циркулем, протягивает мыльницу.

— Щелкни меня вот оттуда. Одна нога в Ледовитом океане, другая – в Тихом. Чума. Все рядом. В башке моей каша.

В этот день кита не добыли. Охотники приехали уставшие, с черными лицами, погрузили в трактор снасти и поехали спать. Утром при том же скоплении публики, отбыли по синим пригоркам волн снова.

Вечером опять весь поселок в сборе. Добыча серого млекопитающего здесь не какая-нибудь мажористая прихоть. Три тысячи лет для аборигенов этих широт, кит- первое большое парное мясо после долгой, шизофренической зимы. Иное мясо им не по желудку, да и не по карману. Во времена развитого социализма в магазин завозили продукты среднерусской необходимости. А также мыло. От мыла тело жителей покрывалось язвами, от мороженых кур, их мутило, и они по нескольку дней проводили, кто успевал в нужниках. Поэтому ежегодно для эскимосов чукотского полуострова и таких же аборигенов Аляски выделяется квота на добычу 15 серых китов.

Кит опутан веревками с оранжевыми буями, из боков торчат три старинных, с отполированными ручками, гарпуна. На голове зеленоватые проплешины. Хвост напоминает корму подводной лодки. Тракторист Витя цепляет его тросом, вытаскивает кита на берег, и тот становится виден весь, огромный, побежденный.

Взрослые подсаживают детей на его горб. Они сперва таращат испуганно глаза, потом катаются, точно с ледяной горки, хохочут.

Далее за дело берутся мужики. Взгромождаются на него и большими, точно секиры на длинных пиках, ножами, разделывают. Самые смачные куски достаются старикам, женщинам без мужей, в сельпо с маркировкой «кит свежий, морской».

Мы стоим со Славой в сторонке, наблюдаем. Охотники улыбаются, трындят простодушно что-то по-своему, жуют мантак с солью – порезанную на мелкие кусочки кожу кита. Потом все отправляются по домам, радостные и торжественные – вот и пришла весна. На распотрошенную спину зарятся какие-то громадные птицы, пикируют. Оставленный сторож шугает их длинной палкой, но как-то вяло, всем хватит.

Завтра кита разберут до конца. Мясо пойдет на засолку, усушку, маринад. Жир на хозяйственные нужды и то же мыло. Из усов сделают исцеляющие душу и тело настойки, кости пойдут на утварь – из позвонков выходят шикарные кресла и.т.д. Останется только череп. Витя зацепит его тросом к своему «Кировцу» и отволочет за поселок, где из таких громадных черепов уже целое километровое кладбище. Будто динозавры жили тут и упокоились с миром.

— А че-о же они, дурные, в этот пролив каждый год приходят. Ведь каждый же год получают гарпун в бок? – Слава роется в рюкзаке, выуживая бутылку, которую старик вернул ему обратно.

— Так родина тут, блин, – говорит Аким, прорезая пузатому божку глаза. – Они в наших водах любятся, рожают. Потом возвращаются.

— Хорошенькая родина.

— Какая есть, слышь, – улыбается Аким, не отвлекаясь.

Вечернее небо с узорами перистых облаков как будто на выставку из Гжели привезли. Сумерки опускались на поселок, как будто зверь укладывался в спячку, ворочаясь, угнездиваясь, думая о чем-то своем. Откуда-то из-за горизонта последние лучи подсвечивали торшерным светом только те самые черные сопки, по которым держали ориентир когда-то путники. Мы садимся на пригорке поближе, раскладываем на куртке консервы, складной нож, купленные в сельмаге маслины, довершаем натюрморт водкой с жень-шенем. На этикетке выведено: «Разбуди свою страсть».

Поселок распахнут перед нами окном. Зажегся фонарь у деревянной аптеки, заплакал ребенок, промчал на гусеничном вездеходе куда-то Арон. В узеньком проливе встретились два успокоившихся под ночь океана, и равнодушно глядели на нас.

— Не спи, писака, – толкнул в бок Слава. – Разливай давай. Помянем... Китов. Ну, и людей.

Китайская элегия

Пили, как водится в тупике за вокзалом. Сидели на рельсах, подстелив газеты. И не вспомнить теперь: октябрь был, ноябрь ли? Помню только снег, снег и тоску, оттаявшую от портвейна, как в осенних лужах палые листья.

Глядя на запорошенные поезда, Витька Мишкин написал стих:

Как свят был мир, когда была зима,
Была прекрасна жизнь обыкновенная.
И так легко поверить: пей до дна
В любом стакане плещется Вселенная...

Я пошел за пивом для «догонки», но зачем-то взял билет до Питера, вскочил на подножку последнего вагона, а потом вышел в Нижнем. И вовсе не по-пьяни, нет. Просто мы все тогда считали себя испытателями жизни. Дурачились, куролесили. Один мой товарищ, как-то испытывая эту жизнь изрядно поддавши, угнал в Самаре асфальтоукладочный каток и поехал на нем к своей девушке в город Тольятти.

...По перрону, будто песок сквозь пальцы пересыпал ветер поземку. Я поднял воротник и пошел бродить по городу.

Темнело. На трамвайных путях, щурясь от фар, сидел черный котенок, и облизывал лапу. Качнувшись, выкатился вагон из-за угла. Я сидел на рельсах и прижимал к щеке кота. Часть созвездий нашей Галактики взметнулась из-под колес.

Из трамвая выскочила девушка, сползла по фарам на корточки и заплакала. Я целовал ее пальцы, нес какую-то чушь несусветную, про то, что вовсе и не хотел кидаться под колеса. И что вообще вся эта катавасия под кодовым названием «жизнь» мне даже нравится.

...Девушка заканчивала смену в одиннадцать вечера. Я ждал ее в депо с белой розой.

— Ты часом не с Луны свалился? – спросила она.

— Мой дом с ней где-то рядом, – пожал я плечом.

Потом были конфеты из коробки, вино во дворике, катание с ледяной горки. Ходили в магазин за мороженой вишней. Упали в снег и разглядывали летящий между звезд спутник.

— Я сегодня у подруги ночую, – сказала она. – А так в Шанхае живу.

— В Китае, что ли?

— Да нет, тут недалеко, за Окой. Просто там жители Поднебесной когда-то бараки строили.

Я проводил ее в арку. Во дворе у дерева стояло запорошенное снегом пианино.

— Еще в сентябре кто-то выкинул. В морозные ночи у него лопаются струны, и тогда получается музыка.

Она смахнула с крышки снег, перебрала клавиши:

— Ты когда уезжаешь?

— Ночью. Меня там с пивом ждут.

— Жаль, – сказала она просто. – Как-то в этом мире все.., – подыскивала она в тусклом свете фонаря нужное слово. – Глупо как-то все, запутано. Почему нельзя просто: жить, жить, жить. Вот и ты с какой-то цыганской страстью разлуки. Ладно. Извини. И прошу, не броди больше по рельсам. Они часто по кругу идут.

Билетов не было, и не уехать. И снова я шатался по городу. Говорил со стариком, сторожившим баркасы. Пил с мужиками в кафе у нижегородского кремля. Узнав, что я журналист, они наперебой стали советовать:

— Ты про эту, про Нинку из буфета напиши, у нее знаешь какие сиськи. А-а-а, извини. Тогда про Коляна. Он один раз на тракторе через реку по одному бревну проехал. Ну, влупиздень, конешно, был.

...Следующим днем я шел к телеграфу, и увидел ее. В проводах дирижировала метель.

Девушка ладонью заслоняла розу от снега, но он все равно падал и, оставляя холодные капли, таял. Мы встретились и улыбнулись.

— А ты говоришь трамвай, – сказал я. – По кругу.

— У меня сегодня первая смена, – разглядывая снежинку на варежке, смутилась она. – Вот … А роза не вянет.

И я остался.

У нее были съежившиеся острые груди, щенячьи глаза и мягкие, как будто оттаявшая та вишня, поцелуи. В пустой электричке, на которой мы мотались в Павлово-на-Оке. В кинотеатре, где только для нас крутили «Девушку на мосту». В санях, в которых ехали под вечер через реку-Оку обратно. Возница беспрерывно курил и качал головой: «Ишь, веселые какие». И будто опомнившись, дергал за вожжи и притворно, без злобы орал: «Но паскуда! Понеслась манда по кочкам».

Потом был казахский поезд, вагон-ресторан и акын, играющий что-то заунывное и степное. Я пил из пакетиков кофе «Три в одном» и рвал на мелкие кусочки ее адрес и телефон. Потому что знал: ни через день,

ни через год не позвоню и не приеду. Лучше, чем было – никогда уже не будет. И всякий разговор только затмит те впечатления, которые чисто и легко лежали на сердце.

...А утром (спустя три дня) я принес в редакцию пиво.

— Ни х.я себе! – пробухтел фотограф. – Ты за ним в Китай, что ли, ездил?

Командировка в русскую деревню

Во всем виноват редактор. Это он выдумал кучу каких-то дурацких вопросов, типа: кому на руси жить хорошо, и сказал: «Вот съезди в какую-нибудь деревню. Поболтай с мужиками. Пусть они со своей точки зрения что-нибудь про это расскажут. А мы эти их философствования опубликуем. Будет смешно».

Я нехотя засобирался.

Как раз в то время, когда я думал, куда ехать, сосед Владимир Ильич (но не Ленин) маялся от безделья. Я говорю, поехали в деревню. Бензин оплачу.

Поехать решили к знакомому охотнику.

«Михалыч – трех медведей убил», – говорят о нем на станции Рябина (граница Самарской и Саратовской области). «Одного – кулаком», – вечно уточняет он. Но, думаю, врет. Охотником он слывет все больше по зайцам. Увидев заячий след, он почище донцовых-марининых может выдать тебе такой детектив. С невероятными скидками, погоней, кровью. Голова кругом пойдет, дух захватит.

Добрались мы до него уже к вечеру. Моросил дождь октябрьский. Зайцев, накинув фуфайку, сидел в сенях и задумчиво курил. В дверь его постучали.

— О! – прямо обрадовался он. – Тя че, жена, что ли, выгнала!? Заходи давай. И водителя зови.

В избе его просторно. Старое трюмо, диван. По стенам в самодельных рамках фотокарточки. Фонарь «летучая мышь». Оленьи рога. А в печке гудит, шумит огонь, булькает варево.

Возле шестка с чугунами возится жена – Татьяна.

— Здрасьти, – говорим мы.

Я рассказываю Михалычу, что приехал писать про деревню. «Дак, а че тут писать? – недоумевал он. – Нормально живем. Весело».

Вообще Михалыч – мужик искренний, кряжистый. Чем-то напоминает советский трактор «Беларусь». Все в его руках горит, спорится. Если уж возьмется стога метать, мечет без удержу. Словно кого-то обогнать хочет, соревнуется. Зачем? Не знает. Такой характер. Если уж возьмется пить, то пьет напропалую неделями. Становится черным, как грек. А спроси его: «Чего случилось-то?» Скажет: «Ничего вроде. А че должно случиться?»

Жену свою Михалыч зовет нежно – радость и сладость. А в пьяном угаре рвет на себе рубаху, как гармонь, орет, что она ему всю жизнь загубила, и вонзает в дубовую дверь с размаху кинжал.

Он рассказал нам, кто на фотках. Отец, мать. Чумазый тракторист возле своего железного коня. Он сам, с лентой наискось. «Победитель соцсоревнования». Собака на крылечке. Самолет взлетел.

— А это внучата. Трое их у меня. Они тут в городе недалеко живут. Летом на все каникулы – сюда. Тут у нас и воздух вольный, и лес. За день набегаются. А вечером Танька козу подоит, подбегут: «Бабуль, дай попить». И прямо из ведра теплое, как собачата, лакают. Ой, вы мои засранцы, – ласково глядит на фотки. – Ну, че там у нас? – канючит он у жены. Люди по дождю перлись. А то не по-русски как-то получается.

— А у меня есть, – говорю. – Водка. Будете?

— Хэ-э-х. Будете, – качает он головой. Че ж на нее теперь смотреть, штоль?

Татьяна собрала стол. Бутылка запотевшего самогона, огурцы, соленья, сало. Жареная в печке прямо целиком картошка.

— Со свиданьицем.

Чокнулись – выпили. И еще раз. В дверь постучали.

— А у нас все дома, – крикнул уже раскрасневшийся Михалыч.

На пороге стоял мужик. Как потом выяснилось, это Николай – сват Михалыча.

— А я смотрю, у вас свет в избе, дай, думаю, зайду. Льет и льет, паскуда. Я там, у околицы, застрял, елки-палки. Думал, сам справлюсь. Но – хрен.

— Ты выпей, – настойчиво порекомендовал Михалыч и налил стакан.

— Не, не. Даже и не уговаривай. Надо еще курам дать, свиней накормить.

— Че ты, как красна девка. Щас и «козла» твоего вытолкаем, и свиней накормим.

Николай, щуплый, но жилистый мужик, с наколкой «люби меня» на кулаке, взял стакан, быстро опрокинул его в рот, нюхнул кусочек сала и положил обратно.

Мы оделись и вышли в дождь. Дорогой Михалыч со смехом рассказывал, кто мы и зачем приехали. Сват глянул на меня, как на блаженного, но ничего не сказал. Его «козелок» вытолкали быстро. Он загнал его в гараж возле добротного каменного дома. Ежась и потирая ладони, шмыгнул в погреб. Достал огурцов, копченого сала, бутыль.

У Николая дома – никого. Жена ушла к детям на соседнюю улицу. И мы уселись. Чокнулись – выпили. И еще раз.

— Да напишешь ты про эту деревню! Было бы че писать – сказал сват Михалыча, когда я вытащил диктофон. – Дай нормально людям покалякать.

Речь, как обычно, зашла о государственной думе. Чаще всего звучали эпитеты «козлы», «взъебка» и словосочетание «подвесить бы их всех на ветле за яйца». Затем дали смачный поджопник Киркорову и прямо загоревали о футболе.

В разговоре русских людей ой как трудно бывает уловить переходы, сюжет. Только что «мыли кости» мазиле Евсееву, и на тебе – уже трактора, коленвалы. Причем, как и в какое мгновение «скакнули» с темы на тему, вспомнить никогда не можешь.

— А помнишь, Михалыч, мы с тобой за сеном в Заберезово ездили. Едем, значит, а у нас бутылка. В глотке свербит, неймется. Выпить охота – страсть. Ну, мы, значит, по – быстрому накидали телегу с бортами, веревкой стянули, остановились на пригорке. Поставили трактор на ручник, и уселись под дубки. А внизу – болото. Мы его обычно по мосту, от того пригорка километра за три объезжали. Сидим, выпиваем. Комбайны уже ходят по полям. Хорошо. На трактор и внимания не обращаем. И вдруг он покатился, и прям в болото. Мы спокойно сидим, а Михалыч толкает меня в бок и говорит: «Вот долбоеб. Куда едет? Увязнет ведь». Как будто это вовсе и не наш трактор. А потом друг на друга взглянули и как заорем. Всю ночь его пришлось оттуда выковыривать. Ох, и пиздюлей тогда огребли!

И пошло – поехало. Изрядно поддав, Владимир Ильич поведал, как он возил когда-то второго секретаря райкома. Любил этот секретарь деревню. Чуть что – он туда, к знакомому председателю. Самогоночка, грибочки. А еще всегда возил он в багажнике ружье. И как-то раз в ноябре приехали, я жду его. А ездили из этой деревни мы полями напрямик, чтоб быстрее. Земля уже морозцем хорошо схватилась. Темнеть стало. Он вышел пьяненький. Едем, и тут че-то такое белое впереди маячит. Со словами «Блядь, заяц», он хватает ружье, расчехляет, открывает дверь, крадется, как кошка и всаживает всю пятизарядку в этого мнимого зайца. А ему хоть бы хны, тихонько двигается. Он снова заряжает – и опять всаживает весь заряд. «Заяц» не убегает, но так же тихонько двигается. То в одну сторону, то в другую. Секретарь прямо белый весь от злости. Матерится. Я вылез из машины, говорю, идем, глянем, чего там. Подошел и как начал ржать. Оказалось, это скомканная газета «Известия». Ветерок дунет – она и катится.

— Ой, бляха-муха, – всполошился Михалыч, – сегодня ж футбол. Наши с португальцами.

— Да ну их, – сказал Николай. Тоже мне игроки. Я думаю так: не приучен русский человек к деньгам. Немцы приучены, англичане приучены. А наши – нет. Это такой психический фактор.

— Психологический, – уточнил я.

— Я и говорю. Психический. В советское время все были равны. Зарплата – тоже. У спортсменов так вообще, гроши были. Теперь, вишь, они миллионеры. В чемпионате России ведь скорости так себе, а деньги гребут лопатой. Они считают, ну зачем упираться, когда все и так есть. Они теперь топ … эти … как их, блядь?

— Модели, модели, – уточнил Михалыч.

— А им нужна белка и свисток.

— Тогда уж кнут и пряник,– несмело намекнул я.

— Че ты выебываешься, – откровенно и беззлобно сказал мне Николай. – Я и говорю. А когда этого нет – мы загибаемся. Я думаю, раз нет сборной – так и нечего пальцы гнуть. Вот сборная Зимбабве не играет же в хоккей, и нам нечего. А ты говоришь: деревня, деревня.

— Да ладно, Кольк, че ты завелся-то? Че у те так коза-то орет, а? – интересуется Михалыч.

— Да ее доить надо, а Вальки все нет. Где, мать ее, шляется.

— Ну, так иди и подои.

— Да ты че, нах. Мне больше делать, штоль, нечего. Вон у нас журналист больно умный. Три ЗИЛа, небось, с прицепом книжек прочитал. Ум прямо блещет. Поди, и козу подоишь? – обратился он ко мне издевательски.– Хоть знаешь, откуда в магазинах молоко-то берется?

— Да как тебе сказать? Теоретически.

И тут у мужиков загорелись глаза. Звякнуло ведро в сенях. Суета какая–то возникла.

— Идем, – махнули они головами.

Вошли во двор. Пахло летом и навозом. Щелкнул выключатель. И я увидел козу. Она надменно чего-то жевала и вовсе не глядела в мою сторону. Николай протянул мне маленькую скамейку.

— Что называется, испытано на себе, – говорю, не зная, как к этой козе подступиться. Мне объяснили.

— Только она лягачая. Прошлой осенью оставили ее на ночь на приколе. Волк приходил, она его так саданула, он и околел, – подбодрил меня Николай.

Коза все так же жует и косится.

Я беру из банки вазелин и с испугу надаиваю едва не половину ведра.

За калиткой меня встречают совсем не как героя. Мужики говорят, что это, мол, совсем бабье дело. Чего уж там такого.

У меня же ощущенье, будто прыгнул с парашютом. Охота материться.

И еще много чего было в тот вечер. И курить на воздух часто выходили. И на балалайке частушки Михалыч играл. Я даже записал одну в блокнот. « Мелкий дождик моросил, я спросил – она дала, коромыслом по ебалу – закружилась голова».

И еще чокнулись. И еще выпили. И тогда Михалыч воскликнул:

— Это у нас горючего больше нет, штоль?

— Предлагаю этот чудесный вечер продолжить, – раздухарился мой водитель. – Николай, ты как?

— Я – за, – икнул тот. – Только у меня это была последняя бутыль. У Егоровых не возьмешь. Да и ночь уже, три часа. Теперь только в Сызрань. Тут недалеко. 13 километров туда и обратно… 9.

— Ну, так и нехера время терять, – задорно воскликнул водитель.

— Щас завязнешь, потом дня три не выйдешь.

— Да вы че, мужики, у меня же хаммер. Если раскочегарить – на взлет пойдет.

— Ладно, если че – вытолкаем.

Вот ведь какая штука. Бывает, идешь ночью – фонари горят и – раз, в яму какую- нибудь. Костей не соберешь. А бывает, что в кромешной темноте, где вырыты едва не котлованы, идет, кошеляясь, мужик и огибает эти ямы с ловкостью лыжника – слаломиста. Вот и мы в тот раз нигде даже не буксовали.

Выехали на большак. Чуть поодаль от нас удалялись два красных огонечка.

— На взлет, говоришь, – подзадорил водилу Николай.

— А хули там, – сказал Ильич. И вдавил педаль в коврик.

Огоньки медленно удалялись. Он еще сильнее вжимает педаль. Огни отдаляются. Стрелка спидометра застывает на 110.

— Ты глянь, хорошо идет! – восклицают мужики.

И тут эти огонечки медленно отрываются от земли и взмывают вверх.

— Твою мать! – слышится в темноте. – Мы ж на аэродроме!

Утром я проснулся оттого, что за окном слышались дикие вопли. Михалыч в семейных трусах по колено бегал в огороде за солидным хряком.– Сучара, – тяжело дышал он. – Догоню – вые.. и высушу.

Я собрал рюкзак. Михалыч дал на дорожку шмат сала, трехлитровую банку груздей и принес спрятанную в смордине водку.

Я говорю: «Не-е, мы поедем».

— Так уж и не делают, – обиженно сказал он. – Не по-русски это. Давай. Посошок.

Я, давясь, выпил.

— Да, – всполошился Михалыч. – Ты там вопросы какие-то хотел задать. Погоди. Щас сват придет. Поболтаем.

Я подошел к водиле и тихонько сказал:

— Поехали отсюда к черту.

— Из этого рая-то? – вытаращил глаза он.

Конь по кличке Сталин

Когда-то советский режим приговорил Василия Конкина к смертной казни. Потом приговор заменили на 20 лет тюрьмы. Отсидев 7 лет, он вернулся в деревню известную своими рысаками, и стал конюхом.

Самого норовистого и строптивого жеребца со зла назвал Сталиным. Однако вышло так, что конь не раз спасал его от смерти.

Об этом мне рассказали в редакции одной районной газеты. Но ходить к нему не советовали. «Рецидивист», – говорили местные журналисты.

Добрался я до него сентябрьским, вечером. Стукнул в окошко. Никто не ответил. Я вошел. Он чистил пахнущее порохом ружье.

— Здрасьти. Я из газеты. Хочу вот про вас написать.

— Хрен тебе, – отшил меня старик. И снова принялся за оружье. Потом глянул на меня еще раз сквозь дуло, будто прицеливаясь. Плеснул в алюминиевую кружку чаю, подошел ко мне и сам выпил.

— Ходют тут... – сердито сказал он.

Я вытащил из рюкзака бутылку водки. Этот журналистский прием в большинстве случаев работал безотказно.

Всю ночь потом я записывал его историю. Дед все говорил, говорил. Но одного так и не сказал: за что же тогда, в, 50-х, назначили ему смертную казнь. Поставив точку, я листаю страницы блокнота. Барак. Лязг засовов. Солнечный зайчик в камере.

Он не знал, сколько ему осталось. В той камере, куда его втолкнули, ему уступали место. О нем говорили шепотом. Он был конченый человек. Бумаги, лежащие в папке у следователя, гласили, что его уже почти нет. Здесь он ненадолго. Зэки, мотавшие уже не первый срок, говорили, что скоро его отведут в камеру для смертников. Чего только не говорили о них. Каких только слухов не ходило о тех камерах по лагерю. Но никто не мог рассказать, как там на самом деле. Потому что никто и никогда оттуда не возвращался.

Одни говорили, что там только голые стены, по щиколотки все залито ледяной водой. Другие твердили, что там есть все. Вдоволь чая, сгущенное молоко, серебряная посуда и кровать с лебяжьей периной. Еще говорили, что расстреливать приходят утром. Вводят в камеру с красным светом, делают укол в язык, приставляют пистолет к сердцу и...

Он не спал несколько ночей. Сердце бешено стучало, ритмично отдаваясь в голове словами: «Только бы скорей. Только бы скорей». Умирать было уже не страшно. Невыносимо было ждать. Пришли

за ним и в самом деле утром. Солнечный зайчик метался под ногами. В кабинете начальника, прищурившись, смотрел с портрета Сталин.

...Смертную казнь Василию Конкину заменили двадцатью годами тюрьмы. Три дня он потом валялся на нарах в одиночке и просто смотрел в зарешеченное окно.

Из двадцати отсидел дед Василий семь.

Затем вышла амнистия, и он уехал в Черновские выселки, что неподалеку от конезавода N-ской области. Устроился конюхом. Никто не знал, по какой методе он кормил лошадей. Но его рысаки были самыми резвыми.

Частенько возле конного двора он устраивал скачки. Нередко и сам участвовал в них. На полном скаку он мог сбить кнутом несколько глиняных горшков, висевших на шестах и поднять с земли подкову.

Как-то райком премировал его за высокие показатели жеребенком. Норовистее его не было в округе. И никто долгое время не мог его объездить. Василий часто вытягивал его вдоль спины кнутом. А шатоломный мерин однажды так лягнул его в пах, что тот едва остался жив.

Со зла он назвал его Сталиным. Потому что не было для него ничего ненавистнее этого имени. Знаменитые слова о культе личности давно уже были сказаны, но в Черновских выселках все равно говорили об этом шепотом.

Сколько раз Сталин сбрасывал Василия Конкина со спины, никто не помнит. Но настырность человека оказалась сильнее. Через некоторое время Сталин так привык к Василию, что ходил за ним, как собака.

Осенью, когда тихие дождики размывали дороги, мужики ехали в соседнюю деревню играть в «дурака». Василий седлал Сталина и во весь дух мчался на далекий огонек. Поля были пусты. Воздух становился похож на холодное стекло. В небе недвижно стоял одинокий ворон.

В сторожке на конном дворе накурено. Пахнет кожей и дегтем. На дубовый стол вываливаливаются шматы сала, краюхи хлеба, яблоки и выставляется здоровенная зеленая бутыль самогона, заткнутая пробкой, скрученной из газеты. Игра начинается.

— Че у нас козырь, – щурясь от зажатой в углу рта самокрутки, басит мужик с пудовыми кулаками.

— Крести, – отвечают ему.

Играют до утра. Со смехом, рассказами. Утром дверь в сторожку открывается, мужики подставляют легкому морозцу разгоряченные самогоном и азартом лица. Сталин бьет копытом.

Не было в округе лошади резвее Сталина. Но никого не слушался мерин, кроме Василия. Конкин никогда не брал его с лугов по ночам. Как-то кромешной осенней ночью окружила мерина волчья стая. Обычно в таких случаях лошади неистово ржут и мечутся. Тогда никто ничего не слышал. Утром Конкин пришел и опешил. Три мертвых волка лежали на холодной земле. Сталин забил их копытами.

Услышав о необычном жеребце, в Черновские выселки стали частенько наведываться и цыгане. Уж, как только не упрашивали они Конкина продать его. Предлагали женщин, автомобили.

— На кой хрен мне ваши деньги, – говорил Василий. Но однажды Сталина все-таки украли. Триста с лишним верст отмахал он на велосипеде по полям, перелескам. Искал на паромах возле Волги, дрался с цыганами. Заглядывал их коням в зубы. Думал, перекрасили, бестии, лошадь. Осунулся, почернел. В чем только душа держалась. Вернулся обратно. Только пустая узда позвякивала на руле. Глядит, а Сталин его ходит по саду, срывает губами яблоки и, щурясь от удовольствия, надменно жует их. Заломило сердце у Василия. Ноги понесли к коню. Сталин тоже кинулся. Льнул, прятал голову в плечо.

Сколько раз потом он спасал его от смерти. Вытаскивал и из запоев. Бывало, неделями пил мужик. Потом выходил до ветру, и падал на октябрьскую землю, засыпал мертвецки. А конь таскал ему за щекой холодненькие яблоки из сада. Поддевал мордой, не давал застынуть. Конкин очунался, видел рядом с собой горку сочной антоновки. И щипало в горле от нежности.

— Жалко тебе меня, – говорил он, глядя гноящимися глазами на фыркающего поодаль коня. – А ты не жалей, не надо.

Он вставал, смахивал с колен волглые листья и бубнил:

— Жизнь моя иль ты приснилась мне?

...Сталин умер зимой под завывание метели. Конкин принес ему овса. Жеребец вдруг лизнул его, ткнулся головой в грудь, горячая слеза упала в ладонь. После этого Василий выдрал из какого-то журнала лицо уже настоящего Сталина и повесил его возле кровати.

Королева станции Арзамас-1

12 часов из жизни женщины

Все так, и XXI век на дворе, и феминизм, и эмансипация. А все равно удивляет: женщина, руководящая целым подразделением железной дороги. Даже в самой фразе есть что-то неестественное: «женщина, дорога, железо». Сочетание несочетаемого.

Станция Арзамас-1. 6.30 утра. Снег и ветер.

— Это вы из газеты? – встречает меня на перроне дама в черной шляпе с бантом. В тусклом свете фонарей разглядеть ее нет никакой возможности. Да она и не позволяет.

— Идемте, – кивает в сторону лестницы. И дальнейшие пять минут я лицезрею в полутьме только ее шляпу. Которую она бережет рукой, чтобы не сорвал дотошный ветер. Ведьмой стонет пурга в ветвях, раскачивает на проводах промерзших галок.

Подходим к одноэтажному дому. Темные окна мрачно поблескивают. Щелкает выключатель, и окна становятся синими. Это и есть кабинет начальника станции. В кабинете – шкаф под потолок, забитый различными папками. Два стола напротив друг друга. Два телефона с замысловатыми кнопками и древний портрет Муслима Магомаева. Женщина снимает шляпу и, тряхнув волосами, протягивает ладонь.

— Кочешкова Светлана Александровна.

Ладонь тонкая и холодная. Но лицо какое! Глаза! Голос, как у Киры Муратовой в «Коротких встречах».

Я говорю, что хотел бы на сегодняшний день стать ее тенью.

— Работа как работа, – пожимает она плечами. – Подвигов не совершаем. Зато выгоняют каждый день.

Она подходит к столу, где аккуратно разложены стопками бумаги. Берет телефон.

— Татьяна, где там Наденька? Погрузку-выгрузку на сегодня давайте. Так. Хорошо. – Стук трубкой по корпусу. Еще один номер.

— База? Ну что, сварщики пришли? Ё-пэ-рэ-сэ-тэ. Ладно.

И так бесконечно. С двух трубок, изредка отвлекаясь на мобильный.

— Сын, проследи за младшим. Куртку зеленую из шкафа достань. Шапку пусть теплую надевает. – И тут же без перехода в другую трубку:

– Вань, я тебя прекрасно понимаю. Всем быстрее надо. Только у нас не скорая помощь, а железная дорога... Покормить его не забудь. Что? Нет. Это не тебе.

Стук в дверь, входит человек. Мнет кепку в руке.

— Сергей Петрович, – говорит вместо приветствия Кочешкова, – я тебя отстраняю от погрузки.

— Это почему?

— Хулиганишь потому что. Пока экзамен не сдашь, разговор у нас с тобой будет короткий.

— Я сдавать не буду, – понуро басит тот. – А это вот посмотрите, – он протягивает начальнику какой-то план.

— Что за куклу ты мне принес? Ладно, оставь, я потом гляну.

Сергей Петрович уходит.

— Кто это? – интересуюсь я.

— Грузоотправитель. Он технику безопасности нарушил, а я виновата, – говорит Светлана Александровна, набирая уже следующий номер.

— Валя, что там у нас по Пешелани?

Пешелань – это одна станция неподалеку, которой тоже руководит Кочешкова. Там два крупных завода. «Декор-1», специализирующийся на изготовлении гипсовых плит, кирпичей и блоков. И финское предприятие ООО «Стара Энсо Пакаджинг ВР», производящее упаковку из гофрокартона. Оба этих завода постоянные и основные поставщики грузов на станции Пешелань.

А из Арзамаса-1 отправляют в разные концы страны щебень, металлолом и валенки, сработанные на войлочной фабрике им. товарища Буденного. Здесь же грузят технику для коммунальных служб: ассенизаторские грузовики, снегоуборочную технику, асфальтоукладочные машины. Фермеры Нижегородской области отправляют отсюда картошку, морковь и лук для Российской армии. Помимо этого, станция узловая, расположенная, как выражаются железнодорожники, на кресте. Поезда отсюда идут в четырех направлениях – Муром, Горький, Сергач и Красный Узел.

12.15.

К крыльцу конторы подъезжает старый «Москвич». Топая ботинками, в кабинет входит человек с роскошными усами.

— Евгений Николаевич, что там у нас на путях?

— Все в норме, – довольно шевелятся усы дорожного мастера. – Митрич заходил?

— Ну да. На обед, говорит, из-за тебя не пошел, ищу его, ищу. Я еще подумала: так вот почему зима началась: Митрич на обед не пошел.

— Если еще будет спрашивать, скажи, что я вчера на Марс улетел.

— Судя по всему, и мы сегодня без обеда. Съездите в магазин, купите что-нибудь к чаю.

— Так я мигом, – молвит дорожный мастер уже на ходу. – Пузырь брать?

— Это Евгений Николаевич так шутит, – улыбается мне Светлана Александровна.

Дорожный мастер, такой же довольный, явился в контору через 15 минут. С пакетом бутербродов и пластиковой коробкой в которой мороженое. На этикетке значилось «Сердце Африки». В соседней комнате, со следами голландской печи в стене, мы пьем чай из голубых чашек. А из каких же чашек пить чай на родине Аркадия Петровича Гайдара?

— А мороженое зачем? – недоумевает Светлана Александровна.

— С кофе хорошо... – ползут вверх усы дорожного мастера.

— Я кофе не пью. И так как заведенная.

Биография Светланы Александровны Кочешковой обычна. И не очень. Утонченная дива из чувашского города Шумерля, дитя потомственных филологов, золотая медалистка поехала как-то с подругой в город Горький. Просто так, за компанию. Подруга собиралась поступать в торговый техникум. Но подруга не поступила, а через дорогу был другой техникум – железнодорожный. «Давай туда попробуем вместе», – в шутку сказала Светлана. Они и попробовали. Подруга снова не поступила, а Светлана, вот так, в шутку, очутилась на факультете управления процессом перевозок. Родители ахнули. В их представлении женщина на железной дороге – мужиковатая проводница с тряпкой в руке. «Там же мат-перемат», – говорили они дочери.

Да и сама барышня Светлана, перечитывавшая когда-то запоем Фолкнера, Драйзера, Бунина, Чехова и Сашу Черного, мало представляла, куда ее занесло. Но, как человек авантюрный, увлекающийся, порывистый, окунулась в обучение с головой. Окончила техникум, потом институт. Работала диспетчером, дежурной по станции. И вот уже 25 лет в ее подчинении десятки людей, стрелки, разъезды, светофоры. Материться так и не научилась, но филологические гены чувствуются. Слова подбирает в такой последовательности, что самых горластых мужиков отбривает, как школьников. Дорога на то и железная, что требует дисциплины и четкости. А вот мужиковатой теткой Светлана Александровна так и не стала. В каждом движении – утонченность и

стать. По шпалам и по щебню ходит на каблуках. И как ходит! Королева на фоне полувагонов.

14.45.

— Пожарные звонили, – говорит Светлана Александровна, когда мы в машине Евгения Николаевича подъезжаем к «Белому дому» (так Кочешкова называет административное здание отделения дороги). – Сказали, если до конца месяца в диспетчерской линолеум на плитку не заменю, уголовное дело заведут.

— Раньше сядешь – раньше выйдешь, – шутит дорожный мастер.

— Не приведи Господи. С кем дети останутся?

В администрации Светлана Александровна скинула шубу на спинку стула в кабинете технического отдела, запульнула шляпу на шкаф и, бросив мне: «Подождите минут пять здесь» – исчезла в перспективе коридоров. Я узнавал ее только по дерзкому стуку каблуков. Вот она прошествовала в бухгалтерию подписать какие-то бумаги. Вот добыла где-то кучу журналов и свалила рядом со мной. Вот схватила телефонную трубку.

— Валь, у меня там тепловоз стоит под «хопры». 12 вагонов нужно погрузить. Узнай у сигналистов, как дела...

Когда перезвонили, Светланы Александровны уже и след простыл. Появилась в проеме двери она только спустя минут пятнадцать.

— Можно я вас немножко поэксплуатирую? Вот эти журналы помогите вниз отнести. Там будут синие «Жигули» черт-те какой модели, в багажник киньте. А в подвале кресло сломанное надо забрать. Потом заварю, девчонкам дежурным отдам. Только кресло все в пыли, осторожно, не измажьтесь.

Я загрузил журналы в багажник. Вытащил с водителем «Жигулей» из подвала кресло. Закрепили его на крыше «семерки», закурили.

— Она всегда такая лихая? – спрашиваю я про Светлану Александровну.

— О да, – щурит глаза водитель. – У нас говорят: ей бы пропеллер, всю дорогу на нее повесить можно... А че? Справилась бы. До нее одни мужики начальниками были… Поработают с полгода и уходят. А она уже восемь лет. Сколько НОДов пережила. И каждый НОД хотел ее уволить.

— За что?

— Ну как? Переезд закрыт – начальник станции виноват. Провода стащили – начальник станции виноват. Тот стрелочник, который, блин, всегда.

16.50.

Синими узорами цветет окно. Мы берем фонарь и выходим на холод. С этим фонарем Светлана Александровна встречала когда-то и Патриарха Алексия II, который приезжал в село паломников Дивеево. И Жириновского, который был тут со своим бронепоездом. Патриарх осенил начальника станции знамением, Жириновский поцеловал в щечку. Сейчас этот фонарь держу в своих руках я. Мы идем к месту погрузки щебня. Из 12 запланированных «хопров» загружено только шесть. Негабаритное место образовалось из-за поломки платформы – отвалился кусок плиты.

Светлана Александровна газелью влетает на гору со щебнем, что-то с жаром втолковывает грузчикам. Я свечу им фонариком.

17.30.

Ветки рябины скребутся в окно. В конторе греем ладони о голубые чашки с чаем. Мороженое «Сердце Африки» так и осталось нетронутым.

— Ну вот, вы сегодня целый день из-за меня голодаете. Я-то привычная.

Через час мне уезжать, подойдет поезд. А для нее это середина рабочего дня. Нужно заполнить наряды. Отправить сыновей по телефону в цирк. В два часа ночи вместе с плечистыми мужиками, у которых на каждом плече по автомату Калашникова, проконтролировать груз, проверить сцепки, лишний раз осмотреть стрелки. А утром – все сначала.

«Зачем вам это нужно? – хочется спросить мне эту красивую, чуть разрумянившуюся к вечеру женщину. – У вас же дети. Куча знакомых в Москве. Масса возможностей».

Но у порога я почему-то задаю совсем другой вопрос:

— Вы когда-нибудь плачете?

— Бывает, – усмехается она своими черными глазами. – Во сне. Когда время есть.

Кошки говорят об этом так

Мы сидели с пятилетней дочерью на чердаке деревенского дома.

Мы пускали в открытую дверь мыльные пузыри.

Балансируя на стрехе, словно канатоходец, подошел большой рыжий кот. Кот этот был какой-то чересчур мягкий, слабохарактерный, что ли. Хоть и большой. На него шикал и выгибал спину даже тщедушный соседский Филя. Тот не реагировал. Просто поворачивался и уходил. Рыжий этот наш кот Кузьма все вечера проводил на крыше. Сидел, задрав голову, глядел на звезды. Что видел он там? Космос? Обреченность этого мира? Черт его знает. Он мог сидеть так недвижно часами, потом спускался и все чего-то себе думал, думал. Маша обожала его. Но тут как-то совсем для меня неожиданно сказала:

— Плохо быть кошкой.

— Почему?

— Вот, например, потому что, что (эту фразу она всегда произносит именно так) Кузя не может Ксюхе (кошке нашей) сказать, например: «я люблю тебя», – выдала она, усердно притом, его оглаживая.

— Ну, для этого не нужны слова.

— Совсем? - недоуменно глянула она на меня своими карими глазищами.

— Совсем.

— Но как же тогда?

— Я вряд ли смогу объяснить тебе это сейчас. Когда-нибудь все придет, и ты не ошибешься. Так все поймешь, без слов.

— Хм, когда-нибудь, – дочь крепко задумалась. Рука ее замерла на голове кота. Тот боднул в ладонь, сощурил глаза, лизнул: «Продолжай».

— Щекотно же, дуралей, – с укоризной произнесла Маша и нежно, как бабочку, примяла его левое ухо.

Я набрал в кружочек на пластмассовой палочке мыла, выпустил три шикарных пузыря.

— Опять радужные, – не то спрашивая, не то утверждая, вздохнула Маша.

И дальше продолжался день. Наш последний перед моим отъездом из деревни день. Я уезжал в онемевшую от снятых фотографий со стены квартиру, дочь оставалась на так называемой даче у моих родителей.

Я пытался хоть как-то наполнить эти часы. Чтоб мы вместе «наелись» досыта этого шального, с улыбкой до ушей, солнца, чумных запахов земли и липких тополиных листьев, тех звуков, когда все только начинается.

Мы слушали, исходящий из дырочки скворечника, голодный писк только что вылупившихся птенцов. Делали куклу из лоскутов старых платьев. Ходили смотреть долину (выражение дочери), где мотала головой, словно кого-то приветствуя, или, прощаясь с кем-то, закатная лошадь. Жгли костер в саду и готовили на вишневых прутиках сосиски. А вечером, укладываясь спать, дочь вдруг сказала:

— Я знаю, как они разговаривают.

— Кто?

— Да кошки.

— Ну и как же?

Когда они говорят «я люблю тебя», они мУрзются.

— В каком смысле?

Она подползла ко мне, путаясь в пижаме, уткнулась носом в мою щеку и стала тереться об нее совершенно как кошка, приговаривая: «Мр-р-р, мр-р-р».

— Вот в каком, – добавила…

Ночью ветер трепал яблоню за окном. Пригоршнями кидал капли в стекло дождь. Я проснулся от ощущения чего-то непоправимого. Сел на кровати, щека была липкая, мокрая. В рваном облачном небе летела и летела куда-то луна. Я взял телефон, и в который раз перечитал, присланную несколько дней назад женой смс-ку «…Я сняла квартиру в Ясенево. И хочу, чтоб ты знал: я не отниму у тебя то, что так дорого. Ты сможешь видеться с дочерью, когда захочешь. Прости меня, если можешь. И, пожалуйста, не говори пока ничего своим родителям. Пусть девушка немного побудет там».

Дочь сопела у стенки. Потом стала шарить по моей подушке пухлой (с ямочками на костяшках пальцев) рукой. Я лег. Она обняла меня за шею и пролепетала сквозь сон: «М-р-р, м-р-р». От ее щек по-прежнему пахло детством, тем особенным запахом, в котором много от антоновских яблок и от теплого молока.

Со страшной силой тикали на стене невидимые часы.

Край Земли

Александру Шереметьеву

Той осенью много было тепла в груди. То ли от коньяка, который пили мы в тупике. То ли оттого, что проносились мимо этого тупика поезда, а в них – люди. И так хотелось любить их, думать обо всех нежно. Потому что вот осень такая нарядная, поют в рябинах дрозды, и потому что все мы когда-нибудь умрем.

Той осенью я дурачился. Брал с собою утром будильник, заводил его минут на пятнадцать вперед. Затем входил в трамвай и присаживался рядом с какой-нибудь девушкой.

Будильник мой был массивный, еще тот, советский, с колокольчиком наверху. И звонил он – мертвого можно было поднять. Я вытаскивал его из кармана, хмыкал и спрашивал у девушки:

— Черт, а сколько на ваших?

Она отвечала. Я подводил стрелки и говорил:

— Ну и как мне теперь жить без вас!?

Когда я сказал это тебе, ты пожала плечами и ответила:

— Мы можем никогда не расставаться.

Луч солнца, разведенный красками осенней листвы, золотил две озорные твои косы.

И что это был за день! Какое сумасшедше-синее небо висело над городом, и как на фоне этого неба били по глазам костры кленов!

Мы сидели в кафе на набережной, и я все время выспрашивал у тебя что-то. А ты, глядя на Волгу и подставляя лицо ветру, не интересовалась у меня ничем. Казалось, разговор со мной вовсе был не нужен тебе. Но отчего тогда не уходила ты, сославшись на какие-нибудь дела? Отчего беспрерывно пила кофе и будто на дежурном интервью отвечала на мои вопросы? Я знал, что у такой, как ты, должно быть много воздыхателей. Денежных, справных, как породистые жеребцы. Этаких хозяев жизни. Но зачем целый день сидела ты со мной? Может, убивала какую-то обиду?

В огромное красное солнце летела чайка. Я думал, что вот вечер, сейчас ты встанешь, скажешь чего-нибудь и уйдешь. Но так хотелось удержать тебя. Какой-нибудь нелепостью, глупостью. И уже злясь, что ничего из этого не выйдет, сказал:

— А поехали в одну деревню. Там есть дом с печкой, а из окна видно, как солнце заходит в поля.

Я знал наверняка, что ты откажешься. Но ты как будто играла в неведомую мне игру и грустно улыбнулась:

— О кей.

Мы заехали ко мне, захватили рюкзак, позакрывали форточки. А потом, купив еды, отправились на вокзал.

Фонари были как будто в дыму. Запах листьев и вокзальных пирожков витал всюду. Мы глядели на уходившие поезда с моста и курили.

— Когда-то я думала, что у каждого человека на этой земле есть его собственная любовь. Которая ищет его с рождения, – сказала ты, разглядывая в полутьме свои красивые ногти. – Но мир все-таки очень велик, и искать друг друга эти сердца могут всю жизнь. Очень похожа на это и какая-то своя, никому не понятная жизнь поездов. Они часто ходят навстречу друг другу. И кричат, кричат, как журавли. Но как только встречаются, проносятся мимо – тотчас же понимают – не то, опять не то. И снова идут куда-то, ищут чего-то.

Уже и гасли огни в домах, мимо которых мы ехали, и синим светились окна, где смотрели телевизор. А в поезде пахло уютом и жаром несло от чайника, который возле купе проводниц визжал тоненько, как монашенка.

Я сидел на нижней полке и смотрел на тебя. Ты сняла темные очки, щелкнула дужками и протерла, как ребенок, кулачками глаза. И так мне захотелось поцеловать их, сгрести тебя в охапку.

— Давай спать, – сказала ты.

Я допил свой чай. Стал разглядывать гравюру города Смоленска на подстаканнике. Внизу мягко погрохатывали колеса.

— Давай спать, – сказала ты, и сняла через голову свитер.

Я обомлел. Под вязаным белым одеянием у тебя ничего не было. И поэтому колыхнулись наполненные, готовые вот-вот расплескаться, груди. Затем ты освободила ноги от джинсов и залезла под одеяло.

Я бродил всю ночь. Выходил за чаем, а потом сидел и смотрел на проносившиеся фонарями и одиноко горевшими окошками деревни. И так хотелось запомнить все это, куда-то записать. И было страшно от мысли, что можешь заснуть, а утром встанешь – и не будет уже тех ощущений, тех нот в груди. Никогда. Не о таком ли состоянии сказал когда-то Пушкин: «Вся жизнь – одна ли, две ли ночи?»

Утром (было еще запотевшим окно) я тихо разбудил тебя. Ты что-то спросила ленивым, еще не набравшим холодной отстраненности, голосом. Быстро, как солдат, надела свитер, и пошла умываться.

Затем была станция. Наш поезд толкнулся и застыл у бабулек с яблоками. Мы миновали длинные, точно склады, деревянные ангары, прошли висячим мостом через речку и вышли к осеннему пустому полю. Было еще темно и гулко. Со станции долго доносился до нас голос женщины, объявляющей поезда.

Ты куталась в воротник своей розовой куртки и прятала руки в рукава. У высветленного стынью горизонта игрались-миловались черные вороны.

А потом мы порвали в углах паутину, затопили печь, и я принес из колодца воды.

Сколько было счастья в тот день! Шипели дрова в печке, постепенно теплом наполнялась изба и кипела, бурлила за шестком, варившаяся шурпа.

Мы пили чай в облетевшем саду. И казалось: я чувствую, как крутится, летит куда-то Земля. С этой осенью, безлюдной этой деревней и нами, прихлебывающими из блюдцев с твердым, еще оставшимся от бабки сахаром, чай.

Весь день ты вытаскивала из шифоньера старые вещи. Крутилась возле тронутого трещинами трюмо. Примеряла цветастые девичьи, бог весть как угодившие в тот гардероб, сарафаны, пальто с капюшоном.

Особенно хороша была ты в этом пальто, когда надевала его ночью на голое тело и выходила на крыльцо покурить. Курить можно было и дома, но ты все равно выходила. А потом как будто что-то передумав, свалив какой-то неведомый груз с плеч, приносила в дом запах стыни и близкого снега. Скидывала с себя одеяние и жалась ко мне, льнула губами.

Ты почти не говорила со мной, а только кричала, как птица подстреленная, билась в ладонях. Я представлял почему-то сверху наш дом, эти крики, а дальше – тишина на много безмолвных верст.

Мы ставили в патефон пластинки Леонардо Коэна. Я одевался и выходил на воздух. Последние листья осин угрюмо трепетали в саду. И стояли в небе звезды, крупные, увесистые, сырые. И так мне хотелось нарвать их, как яблок, принести за пазухой тебе еще сонной, сидящей на кровати голышом, и высыпать к теплым коленям.

На другой день запуржило, завьюжило. И вместе с тревожной радостью от первого снега, нанесло в сердце какой-то неизбывной тоски. Откуда она приходит? От чего?

Я отомкнул огромным, как в сказке про Буратино, ключом дверь в амбар.

Нашел там:

— старую керосиновую лампу;

— радиоприемник «Вега»;

— банку вишневого варенья;

— валенки;

— прялку;

— обитые оленьей шкурой охотничьи лыжи;

— самодельные деревянные санки.

Мы могли бы кататься с тобой на этих санках с горы возле леса, ты могла бы смеяться и захлебываться ветром от бешеной скорости. Но ты сидела дома и смотрела в окно.

А вечером, будто вспомнив что-то, вдруг засобиралась. Я уговаривал тебя остаться. Хотя бы до утра. Но ты была упряма. Сказала, что хочешь уехать одна, без меня. Так будет лучше.

— Для кого – лучше?

— Для всех, – сказала ты, одевая откуда-то взявшийся бюстгальтер. Оказывается, он лежал в твоей сумочке.

— А как же это «мы можем никогда не расставаться»?

— Я тебе все объясню. Но – потом, – сказала ты. – Позвони, – в моем кулаке оказался зажатый листок блокнота.

И снова шли мы заснеженными уже полями, стонал в телеграфных проводах ветер. А в тревожном, с лохмотьями облаков, небе, подхваченные этим ветром, все также играли-миловались вороны.

Ты уехала электричкой, вложив в тот последний поцелуй, что-то такое, от чего как от неожиданного левого хука потемнело в глазах. Затем, прислонив ладонь к стеклу, долго глядела на меня и уезжала, уезжала, уезжала.

Домой я попал кромешной ночью. Выпил оставшиеся полбутылки водки. Не раздеваясь, рухнул на кровать и уснул.

Утром, затапливая печь, нащупал в кармане твою бумажку. Развернул ее и бросил в огонь. Твоего телефона там не было. Были цифры: 1, 2, 3, 4, 5.

— Раз – два – три – четыре – пять, вышел зайчик погулять…– произнес я вслух.

А потом держал в ладони порвавшуюся твою цепочку с крестиком и плакал. Зачем? Почему?

Что было такого между нами, от чего теперь так скручивало в узел горло?

Что было такого в твоих поцелуях, от которых до сих пор у меня, как от волчьих ягод, кружится голова?

Три дня еще я был в этой деревне. Валялся в кровати. Топил печь. Как чумной слушал Леонардо Коэна.

Но каждый вечер, когда солнце заходило в снега, я брал лыжи, сработанные каким-то волчатником и ехал. Ехал в этот закат красный, а навстречу – огненными хвостами несло поземь. Казалось, все вокруг дымится уймой вулканов. И что там, куда зашло недавно солнце, а тремя днями раньше исчезла ты – там край Земли. А я туда еду. За каким хером? Не знаю.

Ленин и Америка

Фотограф Кунаев – человек в городке N. известный. Закрутив винтом бутылку водки, он выпивает ее за 37 секунд и затем снимает так, что диву даешься. Впрочем, эта необузданная страсть к выпивке толкает его к вечной изобретательности.

Кого только не притаскивал он в редакцию. Бесчисленных знакомых Высоцкого, собутыльников Венедикта Ерофеева, каких-то негров с саксофонами.

А как-то звонит вечером, орет сквозь шум:

— Как ты думаешь? Какой главный прием в репортаже?

— Эффект присутствия, – говорю. – А чего?

— Вот и Валуев тут, заладил: эффект присутствия, эффект присутствия. А Стенькин говорит, что главное в репортаже – водка. Кстати, хочешь написать про американца одного, скульптора, который Лениных и Сталиных лепил.

— Американец? Ленина?

— Ну, да. Тема – не фуфло. Железно.

— Ты ведь опять подсунешь бомжа какого-нибудь.

— Зуб даю.

Наутро Кунаев притащил в редакцию какого-то шустрого поджарого мужика. Он не просил червонец, и отказался даже от пива. Но по–русски шпарил и матерился.

Я отвел фотографа в коридор. - Какой же это американец. Ты на кирзовые сапоги его посмотри.

— Откуда я знал, – сказал огорченно фотограф, потому что терял бутылку. – Это мне знакомый один рассказал. Говорит, приехал, мол, на выставку упряжи для лошадей. Из самой Америки. А насчет сапог я подумал: ковбой, наверно.

Это потом выяснилось, что Америка – деревня на стыке трех областей – Рязанской, Нижегородской и Мордовии. Что мужик этот скульптор, ныне интересующийся лошадьми. А сапоги его такие, потому что в кедах не пролезешь там...

Он зазвал нас в эту Америку. Мы еле выбили командировочные и стали собираться.

— Чудно как-то… Америка, – не унимался фотограф. И мужик рассказал.

Когда-то, еще до революции, неугодных крестьян, какой-то барин отправил на выселки. За удаленность дорог, городов и весей, те прозвали место Америкой. Когда явилась советская власть, к Америке добавился эпитет Сов.

Так и жили люди. В Америке. Но со Сталиным, Хрущевым и Брежневым.

…И вот мы на трех лошадях с фотографом и Николаем Казаковым, как всадники, хрустя льдом в апрельских лужах, уносимся вдаль. Казаков зачем-то дал мне кнут. Раза три невзначай, я съездил им по уху фотографу. Из-под шубняка он показал мне увесистый кулак.

От городка К. в сторону Нижегородской области ехать километров 18. От коней валит клубами пар. С галопа они сбиваются на шаг. Начинается так называемая Нижегородская тайга. Елки, ручьи в лощинах, бревенчатый настил, занесенный песком.

В прорехе показывается Америка. Без небоскребов и Нью-Йоркских огней. Советская Америка – это три двора, пруд и памятник Ленину.

В одной избе живет Николай Казаков. Рядом баня, небольшая конюшня. В другой дом летом приезжает пасечник из села Кользиванова. А в третий, какой-то андеграундный музыкант из Москвы.

Этой деревни нет ни на одной карте. Дома были пустые. Председатель, в чьем ведении они находились, отдал их буквально за гроши. Собственно, благодаря удаленности места и лесу, в котором с годами все больше и больше бурелом заполоняет тропы, ничего и не воруют. Так, разве что зеки беглые из Мордовских лагерей или охотники забредут. Двери здесь открыты для всех.

Затапливаем печку, болтаем. Фотограф крутит радиоприемник, ловит, как он говорит, этой Америки «голос». «Голос» молчит.

— Зимой и я тут не живу, – говорит Казаков. – Зимой я в соседней деревне. Там у меня тоже избенка. Так что я вроде буржуя получаюсь. А если серьезно, то там у меня брат живет, начальник конезавода. В лихие 90-е взял кредит, законтачил с немцами. Они ему породистых лошадей на племя. Сейчас поставляет их богачам из Самары, Перми, Нижнего.

Сам Николай Казаков здесь с 87-го. Когда-то закончил в Питере академию художеств. Помотался по городам. Разной дрянью, говорит, занимался. Бюсты вождей делал, памятники. В Минске, в Брянске. Потом скрутила тоска какая-то. Уехал к брату. Но и здесь занимался тем же самым. Чего он еще умел?

— Один раз, помню,- говорит Казаков, – когда я в райцентре жил, приезжает, значит, ко мне один большой чиновник из Нижнего. Как раз тогда мода пошла Лениных, Сталиных в офисах ставить. И вот он покупает у меня за доллары большой бюст Владимира Ильича. Потом звонит и говорит: «Выслал за тобой машину. Никак не могу придумать, куда вождя этого поставить. Ты же все-таки скульптор». Я приехал, глянул. На окошко – нехорошо. На столе – уж больно помпезно. А был в кабинете этого начальника шкаф такой старинный, невысокий. Вот, говорю, туда и поставь. Ну, кто ж знал, что он возле этого шкафа секретаршу свою стоя… это… того самого… пер, значит. Припечатает ее и жарит до посинения. И вот как-то от толчков его необузданных, Ленин возьми – и трах по башке этому члену партии. Он копыта и отбросил. Все человеку дала Советская власть: кресло, машину, деньги. Секретаршу, наконец. А Ленин, спустя 70 лет после своей смерти все и отнял.

Морозит. Тлеют угли. Фотограф хохочет. Выпил бутылку и хохочет. Я иду бродить по Америке. Кроме пустых изб и пруда от людей здесь осталась только околица из слег, береза с двумя скворечнями и этот памятник Ленину.

— Как Мамай прошел, – слышу я голос за спиной. Это Казаков вышел за мной, чтоб я не заблудился. В лощине кричит ребенком какая-то лесная птица.

Набродившись, сидим на крылечке, глядим на спутник, ловко огибающий звезды.

— Америка, бля, Америка? – выходит фотограф на крыльцо. – И какой мудак поставил в такой глуши этот памятник. Домов нету, а он, сука, стоит.

— Это я поставил, – тихо говорит Казаков. – Весело жила деревня, хорошо. И тут председатель сказал, что все деревни, как деревни, а в этой Америке все ни как у людей. Ни одного памятника. Вот они с районным начальством и обязали меня. После того, как его сюда привезли, один старик вышел и сказал: – П..дец Америке. Затушил о ладонь папироску «Беломора» и ушел. И в самом деле, хотя, может, и не от этого, но с тех пор стали тут люди умирать потихоньку. Кто от чего. Половина разъехались. Так и не осталось никого. Домов уж нет, а он стоит. Сколько раз я просил трактористов: «Мужики, давайте снесем. А они ржут. Говорят: сам делал, сам и сноси. Даже за водку не хотят. Чудеса…»

Магия Коэльо

Валерию Джемсовичу Дранникову

пока не сломаются пальцы

— Значит так, – пыхнув сигаретой, говорит руководитель группы спецкоров, которого в Москве все зовут грозно – Дракон. – Коэльо едет по Транссибу. Завтра ты чешешь в Иркутск, болтаешь с ним о чем угодно. Хоть о проститутках. Но чтоб в среду 17 тыс. знаков были у меня в компьютере.

— Коэльо? Кто это?– дурачусь я.

— Так, все. Вали.

Тогда я думал, что это шутка. Теперь благодарен за все, за все.

Добираться до Иркутска лучше всего самолетом. И непременно ночью. Тогда Сибирь ошарашит тебя сразу. Ослепительным низким солнцем (когда в Москве еще кромешная ночь). Ну, просто убийственным говором (за который в той же Москве потом будешь отдавать бешеные деньги. Ибо связь с Иркутском вовсе не дешева). И собкором Дарьей (у которой один взмах ресниц – выстрел из маузера прямо в сердце).

«Бразильский писатель Пауло Коэльо – мужик, в общем-то, в доску свой», – читаю статью Игоря Шевелева.

Бывший рокер с отвязными текстами. Неугодный режиму поэт, упеченный в психушку. Загульный музыкант, отравленный бродяжим духом скитаний, и неизбывным зудом все испытать на собственной шкуре, чтоб затем черкануть строчечку в сердце. А когда будет бумага – писать, писать, писать, покуда не сломаются пальцы.

И вот ведь загибы судьбы. С таким же настырным безумием, с каким когда-то его книги ни в какую не печатали. С таким же безумием сегодня его издают везде. Казалось бы, сиди себе где-нибудь на берегу океана, обнимай потную бразильянку, кури сигару. Но нет. Он и сейчас с жадностью поглощает новые расстояния. Чтоб черкнуть ту самую строчечку в сердце. Которая потом сведет с ума, едва ли не всех дам одной девятой части планеты.

Россия влекла Коэльо давно. Еще 16 лет назад он хотел ехать по самой длинной в мире железной дороге, останавливаться и гадать, что же в этих русских такого загадочного? И почему в одном рассказе Носова пьют

больше, чем во всей многотомной бальзаковской «Человеческой комедии»? Причем пьют эти русские не чтоб расслабиться, а чтоб ум освободился от зашоренности, и эдак запросто изобретал ракеты.

И вот 16 лет спустя, он смог выпить с этими мужиками и увидеть эту Россию воочию. Понял ли? Да кто ж его знает. Как будто мы сами здесь чего-то можем понять. Особенно в России уездной.

генетическая сила букв

До интервью времени много. Собкор Дарья на своем обшарпанном «Бумере» показывает мне Иркутск. Черные от морозов деревянные дома. Мост через Ангару – единственную реку, вытекающую из Байкала. Котов на завалинке. Памятник Вампилову. Вампилов вспоминался здесь часто, ибо очень к здешней командировке подходил, в которой было столько всего намешано.

— Сейчас в гостиницу, – черт возьми, ну как же она говорила! – Ну, где-то в 3 я заеду, отвезу на интервью.

— Да брось ты, мил человек. Чай, язык есть, сам доберусь. Не хочется тебя от дел отрывать.

— Сегодня мои дела – это ты, – щурится она от сигареты и смотрит на дорогу.

— Я тебя отпускаю.

— Ну, хорошо. Как закончишь, будь добр – позвони. О кей?

— Ну, – вместо «да», по-сибирски, как это говорила она, пробубнил я.

До момента интервью я видел Коэльо только на фотографиях. И для меня было загадкой: чего так все млеют от него? Понимал, конечно: ну, раскрутка, ну, легкое перо, ну, сумел влезть в душу женщины. Но ведь были и другие, кто делал это ничуть не хуже. Хотя категории «лучше» – «хуже», конечно, в искусстве не работают.

Когда я высказал это недоумение девушкам в редакции, они перестали со мной здороваться. Карточка в банкомате отказалась выдать деньги. А одна барышня, проезжая по улице Старой Басманной, мало того, что окатила меня лужей из-под колес своего навороченного авто, так еще и показала язык в зеркало.

Давным-давно в одном журнале я вычитал … «генетическая сила букв». Речь в тексте шла о каббале – древнем духовном знании об устройстве мира. Куча разной лабуды. Но запомнилась вот эта: генетическая сила букв. А ведь здорово! Буквы, слова за годы «обрастают» некой энергией. Как тот же мат. А сколько намешано, например, в слове «люблю». Сказал, как карамелькой одарил.

К чему это я? Да к тому, что Коэльо за годы своей жизни, скитаний-испытаний, выработал в себе, ясное дело, совсем неосознанно, некую магическую энергию. Он не только знает слово, которым можно приворожить читателя. Вокруг него самого происходит столько историй, случаев, что ему часто ничего и выдумывать в своих книжках не надо.

Это я понял только потом. А сейчас…

Сейчас мы сидим с ним в президентском вагоне, в котором он едет по Транссибу. И говорим. Вагон, где едет Коэльо, больше похож на номер в каком-нибудь отеле. Торшеры, бархат, вышитые занавесочки золотом.

любовь. деньги. и президент Буш.

— Господин Коэльо, русская жизнь ведь очень мало похожа на русскую же литературу. В жизни часто скука, отчаяние, а в литературе легкость чувства и так далее. Даже вот у Пушкина, Толстого «мучительное» лишь «очаровательно». Наверняка у вас было этакое книжное представление о России уездной? Насколько оно оказалось близко к реальности?

— Знаете, обстоятельства часто не зависят от воли человека, но отношения к ним, жизнь в них зависит от личностных качеств. Каждую минуту можно наполнить и скукой и чем-то полезным. Я, конечно, вижу и то, о чем вы говорите. И бродячих собак на полустанках, и очень много пьющих людей от скуки. Но я еще вижу и встречаю людей, которые, отчаиваясь, проходя через некие потери, разочарования, учатся не бояться жизни. Потому что это страшно – испугаться реальности. От нее все равно не уйдешь. И я вижу, что очень много людей здесь как-то наполняют свою жизнь светом и добром. Как раз вот об этих противоречиях я и читал у Пушкина, у Толстого, Достоевского.

— У нас еще принято, когда речь заходит о России упомянуть о «загадочной русской душе». Вы думаете, она действительно существует, эта загадочность? Или это выдумки самих русских, чтоб оправдать какую-то собственную дурь? Мол, а что делать: такой характер.

— Я считаю, что в каждом народе есть какая-то загадка. В русских много противоречий и черт, казалось бы, вообще никогда не совместимых. И это мне очень нравится. Поезд, на котором я еду, это метафора жизни. И если пройтись по вагонам, что я часто делаю, то там внутри можно найти всю историю человечества. Вы встречаете людей, у которых есть свои истории, которые выдумать невозможно.

— Да есть такие рассказы и диалоги, которые как хорошего коня купить невозможно, их можно только украсть.

— Хорошо сказано. (Смеясь, протягивает ладонь). Проехав в поезде, я как писатель, обогащаюсь неимоверно. Я уже 20 лет ничего не ищу в этой жизни, кроме таких вот историй и людей.

— Как бы это банально не звучало, но в России много Россий. Одна Россия – это Москва, вторая – это города вроде Самары, Екатеринбурга, Новосибирска. И Россия третья – деревенская – менеджерам по продажам неизвестная и поэтому кажущаяся страшной и беспробудно пьяной. В поезде – эти три России встречаются.

— Это верно. Поэтому мне и нравятся поезда. Думаю, что поезд одно из самых романтичных явлений жизни.

— Поезда вообще менее всего транспорт. Автобусы, такси – да. А поезда, кажется, созданы больше для поэтов, чтоб они ездили в них, и под стук колес мир обретал рифму. И ведь поезда никогда не ходят просто так. Они увозят и привозят всегда чью-то любовь.

— Это здорово. Когда вы думаете о любви, там обязательно есть место поезду

— А как вы думаете, кто или что сегодня правит миром? Любовь? Деньги? Быть может, Буш?

— Нет, то, что вы говорите о Буше – это заблужденье. В португальском языке одно из значений слова «пассажир» – «приходящий». Так вот Буш даже не приходящий, он и не пассажир тоже. Он просто на дороге попался. Мы можем его не брать. А вот любовь всегда правила миром и будет им править.

— Но сегодня многие просто бояться влюбиться, потому что это мешает зарабатывать деньги.

— Но ведь вы понимаете, что-то настоящее деньгами не купить. Вы же не сможете купить любовь проститутки? Ее тело – да, а любовь – вряд ли. Поэтому, думаю, что вы сильно ошибаетесь, говоря, что деньги затмили чувства. Эта реальность так сильна, что, в конце концов, рано или поздно, все убеждаются в этом. В жизни вообще все замешано на любви, она всему начало и конец. Но конец не как точка, за которой ничего нет. Это лишь поворот, за которым любовь новая.

— Как вы думаете…

Как раз на этой фразе явилась представитель Коэльо в России Ирина Коваль и сказала, что я могу задать еще только один вопрос. Я пытался договориться хотя бы на три.

— Извините, один вопрос, – как будто закрывая перед носом дверь, – сказала она.

— Three, – сказал Коэльо.

— Но Пауло!

— Ирэна, Ирэна, – запротестовал он. – В этом путешествии есть для меня некие сюрпризы, когда я сам должен принять решение. Мне хочется поговорить с этим человеком.

— Three, – улыбнулся Коэльо.

— Мерси, – почему-то сказал я.

— Вы как-то упомянули, что Достоевский влиял на вас достаточно мощно. Есть у него затертая ныне фраза о том, что красота спасет мир…

— Да, да.

— Как вы думаете, смогут ли сегодняшние 30-летние сделать эту красоту некой доминантой, чтоб мир стал добрее и лучше.

— Надеюсь, что да. Я не бог и не шаман даже. Не знаю, что будет через те же тридцать лет. Но через свои книги, я пытаюсь передать лучшее из того, что есть во мне. Моя задача, взять человека за руку и показать ему: в том, что он считал банальным и обыденным есть что-то замечательное. А он ходил мимо этого и не видел. А тут вдруг «ух, ты». Моя задача, чтоб тронулся лед в душе человека, который читает меня. Чтоб он стал что-то делать. Или хотя бы задумался о том, чтобы куда-то идти.

— А что вытаскивает Пауло Коэльо, когда становится невмоготу?

— А чаще всего это случайные какие-то вещи. Все хорошее всегда случайно.

— Когда в последний раз вы совершали какой-нибудь безумный поступок?

— А вы?- в лоб спросил он.

— Извините, но мы сейчас о вас говорим. Потому что ведь… вы же герой.

— Но мы же общаемся.

— Ну, хорошо. Вот иду я к вам на интервью по набережной Ангары. Время есть. И тут навстречу девушка с оператором и телекамерой. – «Что-нибудь можете изобразить из разряда « а вам слабо»? – спрашивает. – Ничего себе, говорю. – Ну, могу целоваться целый час без продыху. – « Нет, вот прямо сейчас» – Я говорю: прямо сейчас могу. – Это однообразно очень, – вздыхает журналистка.- Мы же телевидение. Надо, чтоб динамика была, действие. – Ну, тогда вот хоть в Ангаре искупаться могу. – Да ладно? Знаете, какой температуры вода сейчас? Плюс три градуса. – Да че там, сказал я. Разделся. Доплыл до острова Юность. Рукой махнул. И крикнул, что посвящаю этот заплыв всем девушкам Иркутска.

— Достойно.

— Но вы на вопрос не ответили.

— Завтра отвечу.

бурятский шаман и иная реальность

— Ну что? Как ты там? – звучал ее голос в трубке.

— Да нормально все. Поговорили. Коэльо – мужик хитрый. Он видит и чувствует в тех вещах, которые мы обсуждали гораздо больше, чем говорит. Вот и Павел Шеремет (руководитель съемочной группы, который делал фильм о путешествии Коэльо по Транссибу) говорит то же самое. «Едет и везде одно и то же «Мульти бригадэ, мульти бригадэ (большое спасибо по-португальски) и все. Раздает автографы. Материал, в общем, для телевизионщиков никакой. Хоть бы на коне проскакал или в прорубь кунулся, – сетовал Шеремет. Я ему говорю: «Ну да. Или с медведем поборолся. Иностранные журналисты как-то спросили борца Александра Карелина. Говорят, вы тренируетесь с медведями в сибирской тайге. Это правда? – Ага, – ответил Карелин. – Только я на эти тренировки с фанеркой и молотком хожу. – Зачем? – недоумевали те. – А он в картонку вцепится когтями, я их молотком загибаю, а потом –р-раз его через бедро.

— Да уж, – смеется Дарья. – Ну, что? Я заеду?

— Отдыхай, девушка. Не беспокойся обо мне.

— Но ты же не знаешь города.

— Узнаю. Лучший способ узнать город – напиться и проехаться по нему на трамвае. Или пешком пройтись. Так что не думай. Бай, мил человек. Завтра позвоню.

В Иркутске утро начинается в два часа ночи. По Москве. А там уже шпарит солнце (яркое как у нас осенью). И запах зацветающей сирени охапками в окна. Я включаю телевизор. Местные каналы говорят, что Коэльо собирается махнуть к шаманам. Но звонить пресс-секретарю, выпрашивать местечко в автобусе совсем мне не хочется.

Я даже после беседы с бразильцем никак не мог понять этого лебезения перед ним. Хотя понравился он мне очень. Своей простотой, скрытым каким-то хулиганством в уголках глаз. «Свой в доску», – вспомнил я слова критика Шевелева. Дарье звонить не хотелось тоже. Вернее, хотелось, ну, в общем, не стал я этого делать.

К берегу Байкала я поехал на рейсовом автобусе.

— Что же вы не сказали, – говорила потом Татьяна Князева, менеджер отдела маркетинга и рекламы издательства «София»,

которое, собственно, книжки Коэльо в России и издает. – Мы бы вас взяли.

— Знаете, Татьяна. Мы, журналисты, народ вредный. Выпьешь с губернатором водки, закусишь осетриной, а уж потом не напишешь про него то, о чем стоило бы. Хотя, конечно, бывают ребята…

— Не понимаю, а как это связано…

— С вами? Никак. Это просто шутки у меня такие дурацкие.

Мы встретились с Коэльо и обнялись даже.

— How are you? – спросил он.

Я подозвал переводчика Мишу:

— А как сказать за…сь по-португальски?

Операторы улыбнулись.

— За...сь? –спросил Коэльо.

Михаил что-то объяснил ему.

— О хо-хо, – сказал он.

Затем он долго бродил по берегу. Операторы снимали чаек в полете. Вдруг Коэльо скинул с себя черные одежды, балансируя, как канатоходец, на скользких камнях вошел в воду. И поплыл. Телохранители, коих было двое, кинулись в воду тоже. Коэльо плыл и щурился от солнца. Затем вышел, улыбнулся, что-то сказал.

«мне бы в небо»

— Ty gde? – пришла sms-ка.

— Zdes , – ответил я. – Na Baikale.

— Как на Байкале? – звонит она.

— Вечером вернусь. Я тут подумал: муж еще будет беситься. Тебе это надо? Уж лучше я на автобусе.

Пауза.

— Ты хоть звони. Так и в Монголию уедешь. А я не узнаю.

— Монголия далеко. Я, ежели, только на Ольхон смотаюсь. К шаманам.

Обшарпанный пузатый баркас толкнулся в автомобильные покрышки, привязанные проволокой к пирсу, и человек с лицом куклы-пупсика выкинул на берег мостик. Через полчаса шаман по фамилии Хагдаев бубнил что-то по-бурятски и водил руками в воздухе. Так он производил обряд очищения.

Я подошел к нему, спросил, можно ли заехать завтра одному, сфотографировать, поболтать и об этом потом написать?

— Тебе будет, о чем писать. Сибирь тебя еще не скоро отпустит, – сказал он. И ушел.

От Байкала до Иркутска 60 километров. Я еду обратно в двухэтажном автобусе с телевизором. Из телевизора на весь салон надрывается Сергей Шнуров: «Мне бы, мне бы, мне бы в небо. Здесь я был, а там я не был».

Заросшие елями сопки медленно плывут за окном.

Вечером звонит в гостиницу она.

— Как тебе Коэльо? Шаманы?

— Коэльо к шаманам не ездил, а сами шаманы очень понравились. Забавные дядьки. А вообще, ощущение, что я в какой-то иной реальности. И причем ощущение это не от Коэльо. Он всего лишь толчок, повод, печка, от которой танцуют. Ощущения эти от Байкала, скал, на вершине которых снег. От города, от Сибири. Как-то это все наложилось друг на дружку. Вскружило башку.

— Рада, что тебе нравится.

бессаме мучо

Следующим днем в одном из книжных магазинов под песенку «Бессаме мучо» Коэльо раздавал автографы. Книги несли целыми кипами. Некоторые Пауло целовал и выводил на обложке свой вензель с особой тщательностью. Потому что приносили их девушки. Очередь между тем создалась, как…. не хочется приводить сравнение с колбасной. Чем только не одаривали писателя. Конфетами, языческими масками. Кто-то принес даже бутылку водки. Столько любви на квадратный метр не было в этот момент даже в его страстной Бразилии. А затем была пресс-конференция.

— Вы счастливый человек? – спросила Коэльо девушка-телеведущая одного из иркутских каналов.

— Нет. Я многого еще не достиг. Я еще в пути. Знаете, главное никогда не останавливаться и следовать за мечтой, – сказал Коэльо. – Несмотря на то, что жизнь часто посылала меня в нокаут – тюрьма, психушка, чужбина – я, как боксер, принимал стойку, и выходил на ринг. Я знал, что надо двигаться вперед. Это были действительно тяжкие моменты, но именно они закалили душу.

— Здесь, в России очень многие считают вас гуру. Вас это не смущает?– задал ему еще кто-то вопрос.

— Мне кажется, что читатели видят во мне своего попутчика, а не гуру. По крайней мере, никто еще не говорил: «Ты знаешь намного больше, чем я». Все говорят: «Ты можешь выразить то, что я чувствую». А это самое главное в любом искусстве, которое необходимо, чтобы задавать вопросы. Но совсем не обязательно, что ответы будут

одинаковы. Вообще, мир вопросов гораздо интересней, чем мир ответов. Потому что вопросы провоцируют на поиск ответов. Но если ты заранее знаешь точные ответы, то живешь, возможно, в комфортном, но ложном мире, и перестаешь развиваться.

И еще много чего было в тот день. Ели черешню на берегу реки. Пили вино. Целовались.

Утром я был единственным журналистом, который пришел проводить Коэльо на поезд. Он вышел из джипа, улыбнулся, несмотря на рань несусветную.

— Хорошие ощущения, как хорошего коня, купить невозможно. Их можно только украсть, – засмеялся он.

Целый день еще я колесил с ней по Иркутску. Она смеялась так, как не смеется больше никто. Целовалась, выворачивая наизнанку душу. И курила – так, что ее хотелось убить. Потому что никогда она не будет моей.

Я ощущал себя последней сволочью, и думал: черт возьми! Дешевая какая выходит мелодрама! Замужняя дама, магические романы бразильского писателя про любовь. Вино, крыши заброшенных домов, Вампилов в снегу. Тьфу.

Когда ехали в аэропорт по радио гоняли Земфиру: «До свиданья, мой любимый город. Я почти попала. В хроники твои».

Я вспомнил, как меня узнали в трамвае. – Ой, – сказала кондукторша, – а я вас по телевизору видела. Вы в Ангаре купались.

И далее уже как будто самой себе, удаляясь:

— Сколько ж, блядь, дураков на свете!

Возле иркутского аэропорта долго задерживаться нельзя. И, слава Богу. Я махнул рукой. Не оглядываясь, пошел к буфету. «Кино какое-то топорное, – думал. – Сопли».

Аэробус уже был готов к взлету, когда в телефоне снова обозначился конвертик sms-ки.

«Esli smojesh… ne zvoni mne… inatshe… ja s yma soydu».

И тут же вдогонку еще одна «net. net. net.»

Самолет бежит, бежит по взлетке, и все никак не может оторваться. Я вспоминаю шамана. Это просто Сибирь не отпускает.

Матрешкин блюз

вопреки всем экономикам мира

— А я сперва за зека тебя беглого принял. Потом гляжу – рожа вроде интеллигентная, одежа туристическая. Глухомань тут у нас, человека редко вот так пешего встретишь. Тюрьмы, косолапые мишки опять же. А ты, значит, путешественник... Странник, так сказать? – накручивая баранку, пытал меня сиплым голосом водила 412-го «Москвичонка», которому я махнул на проселке.

— Вроде того, – говорю.

Пригрело. Колеи превратились в реки с шоколадной водой, сугробы в полях набухли, что груди беременной. Еще чуть-чуть и у земли – день рожденья.

— За шлагном ездил на базар, – простодушно поддерживал разговор дядька. – Ну, и, не удержался, приобрел по случаю воскресенья чекушечку. Щас приеду, лупану для поправки, чтоб шум в башке унялся. И хватит пока. Вчера баню топил, Санек Масягин приходил, эх, и пар вышел, жирный, густой. Потом в столярке усугубили, конечно, здоровья для. Редко выпивам, понимаешь. Тренировки никакой, потому и башка трещит. Ага, у нас так. С вечеру хряпнул – весь следующий день свободен. К станку лучше не суйся. Если, конечно, руки не лишние. Потому особо-то не гульнешь. Но с другой стороны, по-русски сказать зае.ет, одно и тоже, точишь, точишь. Всю зиму. В глазах от этих матрешек рябит. Вот я и мотанул за шлангами. Хочу этот... как его... капельный способ полива организовать. Да-а-а. Помидоры, что мой шарабан будут, вот увидишь. А моя надулась из-за вчерашнего. Я тож психанул, говорю: а Пасха пройдет, вообще дня на три в луга уеду. Палатка, речка Полховка, знаешь, как разливается. Лещи – во, как валенки.

— И что, вот прямо все село матрешек делает?

— Кажен двор, -удивился мне Виктор Петрович.– Те надо?

Село Полх-Майдан нижегородской области мало похоже на другие среднестатистические. По нему не скажешь: деревня загибается. Дома – добротные, каменные, с мезонинами, с балкончиками, в финском, готическом, теремковом стиле. Возле церкви два прямо-таки дворца. Это братья Масягины совревновались, кто богаче.

— Ага. Деревня у нас нарядная. В 90-м году такой период был, – говорит мой возница, – матрешка дуром шла, или как у нас говорят «в драку». А кирпич дешевый был. Вот новая улица и выросла. Кто успел – построился.

Улицы расходятся от церкви, будто лучи. И в пространстве этом – ни души. Только два гуся, периодически выглядывая из-за сугробов, тихо гундосят у одного из гаражей. Поверх каждого забора непременный атрибут Полх-Майдана – вигвам, схваченный вверху, как озорной девичий «хвост» бечевкой. Облупленные стволы лип дожидаются, когда придет их черед стать матрешками.

У самого же Виктора Петровича дом деревянный, аккуратный, с козырными наличниками – двуглавый орел на фронтоне несет в когтях хорька. «Эт я Россию с НАТО изобразил», – комментирует мастер. Он достает из багажника шланг, кидает его в сенях, как истощенную анаконду. Путь в избу проложен тканными половиками.

Супруга Кремнева – Марь Васильевна сидит на крохотной скамейке, купает в тазике с лаком матрешек. Макнет одну, оботрет голыми ладонями, ставит на дощечку. Оп – вторая готова, третья. Под доской – клеенка. Матрешками разной величины заставлен стол, подоконник, полки, даже печка.

В глазах режет, через пятнадцать минут нахождения в доме голова чумеет.

— Тут и водка не нужна, – говорю.

— Мы уж привышные, – отвечает с кухни Виктор Петрович, налаживая чайник. – Нас атомной бомбой не возьмешь. Зато, гляди, как газ горит, прямо факел в Ямбурге.

— А что же вы не кисточкой? – интересуюсь у хозяйки.

— Кисточкой долга-а-а.

— А в перчатках?

— Перчатки липну-у-т. Раньше-то вообще краска ацетонова была. Все глаза выест, лачишь, лачишь, того гляди заплачешь, – улыбается она.

Ветер из открытой форточки шевелит занавеску. Упираются синицы, голосят петухи, с крыш бешеная капель. Хозяин разгребает матрешек и ставит в прореху чашки, печенье.

— И сколько лет вы уже вот так сооружаете этот чудаковатый конструктор?

— А как ходить начали, – отзывается Марь Васильевна. – Мама, помню, только за порог, а мы с сестрой – «белье» хвать (некрашеная матрешка), глаза малюем, рот. Криво получалось, вкось. На японцев походили. Потом придет – отругает. Эх, фифелы, скока мне напортили.

— А я тоже с сестрой лет в семь начал, – сипит легкими Виктор Петрович. – Тогда станки «ручные были». Ну, колесо большое, от него ременная передача, из кишков бараньих делали. И вот один крутит, другой наяривает точит. Отец придет, глянет, и кинет в угол. Потом по башке потреплет: валяй, мол, когда меня не будет, дальше пыхти.

— А как оттеплет – за липой. Раньше каждый добывал ее для себя сам. С конца мая и почти до августа. В это время она «дерется» хорошо. Звали братьев, сватьев, друзей. Сегодня они тебе помогают, завтра — ты им. Лето, комарье, пот в глаза…

Теперь заготовка липы – отдельная профессия. Поблизости всю ухайдакали. Ездят на делянку. А делянки эти еще в 90-е, как водится, москвичи разобрали, подсуетились. Машина 200 стволов 23-25 тысяч рублей. На зиму берут две. Дерут теперь тоже не сами, нанимают со стороны. Машину липы ободрать – тысяча рублей. Потом сушат – липе, как вину, выдержка нужна. А уж на третий год точат.

— А из другого дерева нельзя, что ли?

— Лопат, – говорит Виктор Петрович. – Лопат и лопат. Все лопат. И дуб, и осина. Выточишь из осины-то. В тепло занесешь – башка хрясть пополам. Только липа идет. Когда она выстоится – прям, что сливочное масло становится. Лоснится, блестит.

— Так вот и живем, – говорит он, вставая из-за стола, раскрасневшись. – Айда до Саньки Масягина дойдем, к Казаку сходим.

Марья Васильевна лачит, лачит и ухом не ведет.

— Эх, хорошо, что ты мне на дороге попался, – говорит уже на улице. – А то бы дулась на меня еще день. Тут ведь как? Если в семье раздрай – кирдык всему. Встанет дело. Мы когда разлаемся, брака тут же много. Вроде и промеряешь досконально. Но как колдовство прям. Дрова получаются, а не матрешки. А так мы двоих дочерей подняли, выучили, внуки вот, один отслужил в спецназе, другой щас во флоте. И все за счет этой проклятой матрешки. Иной раз думаешь, подпалить бы все на хрен, резцы в реку кинуть. А потом думаешь, а че делать будешь? Сопьешься. С ума сойдешь.

В резиновых сапогах, выданных мне мастером, идем по улице, баламутим ручьи. Потом стучим в синие ворота с чайками. Выходит тетенька, платок на ее голове завязан как большое гнездо, глаза щурятся от яркого солнца.

— Ушел, -говорит она. – В столярке сидит. Заходите.

В Майданских домах по две двери, одна в сени – парадная, другая – во двор, в столярку.

Собака, завидев Петровича, стала подметать хвостом лужу. Мы шагнули в проем. В столярке у Масягина жарко. Топится буржуйка. Гора стружек посередке. Тугой свет через окно пробивает липовую, витающую взвесь. Виден каждый луч, как в кинотеатре. Пыль забивает легкие, губит мастеров. В Майдане долго не живут, у всех почти астма, бронхит.

Масягин работал, большие уши его на просвет казались малиновыми. Мы вошли, он заглушил станок.

— Покажи парню, как матрешку делают.

— А сам чего?

— Да че-то мозги кобеняться.

— Дело нехитрое, – бурчал Масягин. Сперва, инструмент как следует надо отточить, чтоб матрешка гладкая была, чтоб блестела. И чтобы не из магазина инструмент, а самокал – у нас тут кузнец свой, не инструмент делает – лакомство.

Он опять включает станок. Точными, заученными движениями промеряет матрешке голову, точит — она и вправду начинает блестеть. Стружки вьются по локтям. Дальше идет утолщение – это талия, затем снова изгиб. Выступ в самом низу называется «ножкой» или «жопкой» по-здешнему – все, матрешка готова. Ровная, гладкая, блестящая.

— Чуть полновата в грудях, – ставит он штангенциркулем диагноз.

— А сколько надо?

— Как полагается, по бабьему стандарту, но правда, в миллиметрах. Девяносто. Я как-то немцам на заказ делал. Те любят почему-то сисястых, – подметил он.

— А еще для кого делали?

— Эт от заказов зависит. Для «Икеи» точили, потом моя делала из них негритят. У нас с Виктором много большого «белья» берут. Потому что липу хорошо выдерживаем. В Москве потом художники на этом «белье» че хошь нарисовать могут. Хошь Путина, а хошь Нельсона Манделу.

— А с чего вообще здесь этот промысел начался?

— О, эт я краем уха слыхал. Закуривай, кто хочет.

— Здесь?

— А чего? Главное окурок не кидай в опилки. Вон в печку. А хошь я тебе самосад заверну?

Я пожелал. Он скрутил из газеты.

— Мы же ссыльные, с Дона. Когда Стеньку Разина разбили, царь его войско расселял по глухим местам. Вот здесь вокруг лес да овраги были, речка Полховка. Говорят, так назвали, потому что заполошные люди на

ней стали жить, шебутные. Во всех, какие были тут восстания, нашенские отметились. А липы много кругом. И тут один мужик как-то сделал себе ложки, чашки. В общем, утварь. С той поры пошло-поехало.

— Стали работать и успокоились?

— Не совсем. Все равно здешний люд побаивались. Вот, например, в соседнем селе, Криушино, помещик был. Ладному на лицо парню в жены кривую давал, красивой в мужья калеку. Первая брачная ночь только его всегда. И все там терпели. А у нас никакого барина и не было никогда. Никто к нам и не совался. А лет сто с лишним назад кто-то из местных придумал матрешку делать. Может, увидел где. Черт его знает. И стали.

Куда только с ней не заносило. Плели такие специальные огромные корзины и в Иерусалим, и в Турцию ездили, а при НЭПе разжились, каменные дома построили, лавочки. А после раскулачка. За матрешек расстреливали, и за колючку упекали- ничего не помогало. В ту пору все окрестные села, которые в старину под барами лежали, этот промысел бросили: испугались. Один Майдан уперся, спас матрешку, вытащил на своих плечах. При Брежневе даже хохмили: Майдан, мол, маленькая Америка. Где частная собственность? В СССР ее нету. А в Майдане есть.

— Ага, – говорит Кремнев, – только и потом хрень была. Паспорта никому не выдавали. На выездах ОБХСС-ники дежурили. Ловили. Фабрика здесь была, вон на окраине. Туда из соседних деревень в основном набирали. Майданские не шли, потому что ерунду делали. И потому что в кабалу загоняли. Дадут тебе кило масла, или воз вики, а ты потом горбатишься полгода.

— И как же вы?

— Известно как, продолжает он.- Для прикрытия глаз в совхозе работали, пахали, сеяли весной, летом. Но втихаря и липу заготавливали. А как зима приходит – точили. К 8 марта или к пасхе или к ярмарке летней колесили по всему Союзу, от Ташкента до Чукотки.

— Как же колесили? Без документов?

— Ну, чо ты, ей-богу, на лапу дашь, тебе выправят. И милиционеру так же. Столько приключений было – три тома можно написать. Обычно к 8 марта паломничество было. А потом все возвращались. Что ты, деловые, и, главное, живые, не покалеченные, такое тоже случалось. С мешком денег. По три-пять тысяч с поездок приволакивали. И тогда праздник на неделю закатывали. Одни приезжают, вторые. Водку мы тогда и знать не знали. На фабрике для полировки матрешек использовали, как мы называли, политуру. Помнишь, Сань?

Тот качнул головой, выпустив в пушистую паутину струю дыма.

— У-у. Напиток богов, – зашелся опять мой провожатый. – Я и свадьбу с ним справил. Знаешь, как весело жили.

— А сейчас?

— Да и сейчас хорошо. Грех жаловаться.

— Фабрика работает?

— Сгорела, – машет Кремнев. Но матрешка – баба чувствительная. Не угадаешь по какой причине, встанет вдруг. Не идет.

— Как по какой?- бубнит Масягин. – Как только отношения с Европой или с Америкой натянутся, все, суши липу дальше. Матрешка, можно, сказать, барометр нашей внешней политики.

— Точно, – говорит Кремнев.

— Да еще и соседние села стали нас подсаживать. Как китайцы, делают ширпотреб. И цену сбивают, и рынок нарушают.

— А чем ваши от их отличаются?

— Ну, у нас вот с таких пор сейчас дети робят. Другие деревни пустеют, из Майдана тоже, ясен пень, уезжают. Но многие и остаются. Численность восполняется. Стало быть, традиция не нарушается. А традиция нарушится, взамен ей что – пустота, эта как ее, эпахондрия, что ли? – смотри на меня Масягин. – Вот этим и отличается. Они вроде и одинаковые. Но у нас каждая баба имеет свой почерк.

— А почем продаете?

— Мы сами-то не возим. Есть те, кто без мужей, берут по пятьдесят, красят лачат, и в Москву на вернисаж в Измайлово, там за триста толкают. Но это куча разных документов, справок. Рехнешься. А так у нас берут в основном перекупщики. Заказывают. Потом звонишь, приезжают на КАМАЗах, забирают. Цена фиксирована. Большая семерка (семиместная) 180 рублей, пятерка – 120. Ну, а в Москве уж они как хотят, так и ломят цену. 800-1000. Иной раз заказывают большое «белье» – десятку или пятнашку – тридцать сантиметров высотой. Возьмут у тебя за тыщу. Продадут за десять. Закон бизнеса.

— Но странно другое, кому, куда столько этих матрешек надо?

— Как кому? Один из символов России. Балалайка, водка, матрешка. Скажешь, туфта все. Давно устарело? Но, видать, иностранцу так удобней «крези рашу» воспринимать, «ен ду стенд»? – губы его расползлись в простецкой улыбке.

Мы опять идем по лужам. Смолим дареные Масягиным «козьи ноги». У некоторых ворот нехилые иномарки. Майдан развивается назло всем экономикам мира.

Казака дома не оказывается. Замок.

У него лихой оборот, деньги и товар крутятся, как и он сам. Коммерция, связи - отправляет матрешку машиной в Петербург, а оттуда по всему миру. Кроме того, что сам точит, другим заказывает, нанимает. И те делают, как в старину – одну себе, три хозяину. Потому что липа не их, а его.

— Эх, был бы я чуть помоложе, я б ему еще фору дал, – смеется Кременев. И закашливается.

Мы идем к нему обедать.

— Дахалка вот малость подсела. Ночью, бывает, прям того и гляди концы отдам. Но нам и этого с Марькой хватает. Двадцать тыщ к Пасхе срубим – поди, плохо. Детям отправим, внукам. Ей бродни куплю.

— И на рыбалку возьмешь?

— Да не-е. Она мне еду к реке носит. Пирогов напечет. А сапоги худые. У нас, знаешь, какие разливы – у-у. И лещи – с валенок. Я забурюсь на денек, другой, в палатке. Она меня кормит. Хоть и лаемся, а уж почти сорок лет вместе. Держимся друг за дружку. Прям как матрешки.

О крысах и о чем-то там еще

Зимним нудным вечерком пришла ко мне фотограф Л., разула свои полуботы и говорит:

— У тебя есть коробки маленькие?

Коробки у меня были.

— Вон, – говорю, – в углу поройся.

— О, красивые. Поди жалко?

— Чай будешь?

— Да крысы все свои квартиры проссали. Жить негде. Наливай.

Крысы у Л. появились вот как. Много лет делил с ее домочадцами, шикарным котом Шкарпетом и нагловатой красноглазой черепахой, крыс с подпольной кличкой Лысый. Но подох весной. Л. виду не подавала, но все же кручинилась. И вот как-то, снимая что-то, в московском зоопарке она поведала о беде старшему научному сотруднику по грызунам Мише. Миша улыбнулся и, как фокусник, вынул из-за пазухи белую тварь с хвостом похожим на шнур от толовой шашки.

— Она у нас нежная, такая недотрога, всех боится, никого к себе не подпускает.

Протянул, улыбнулся и произнес:

— Дарю.

Взяла Л. крысу, принеслась с ней домой и стали они жить-поживать, кота недоумевать... А через неделю крыса вроде бы занедужила. Лежит на боку, глазами вертит, вздыхает , как на плите чайник. «Капец» – предположила Л. Хотела позвонить старшему научному сотруднику Мише, но умаялась за день, спать легла. А поутру с криком:

— Мама, дура, у нее дети, – принеслась дочь Катя.

Л. поглядела и правда, в клетке шевелились девять слепых крысят. И вот эти девять штук, выросли, стали грызть и пИсать прямо в картон из которых она им в клетках дома сооружала. Не дома – зАмки.

Порылась Л. в углу моем паутинном. Там валялись коробки от подарков той, которая вся когда-то состояла из поцелуев. Картонная упаковка от железнодорожного подстаканника, свечей, сигар и прочего.

— Ой, красивые какие.

— Забирай.

Выпила Л. три чашки чаю (в каждую по три сахару клала), взяла коробки. А через день присылает смс-ку.

«Построила два дома крысцам. Живут и тебе кланяются. Из модной коробки, которая от подстаканника, торчат две усатые морды друг над дружкой. И пацаны тоже поселились, хоть и гнули пальцы».

«Напиши им сверху: да любите друг друга.»

«На словах передала», – прислала она ответ.

Вот ветер на дворе березки за космы треплет. А мне хорошо. Чаю налил и сижу. Струи табачных дымов под потолком затеяли пьяный и вязкий танец. О крысах и о чем-то там еще думаю.

Огнедышащие люди

Паровоз сегодня – это артефакт из прошлого. Ну, как лошадь в каком-нибудь парке отдыха или корова для городского ребенка. Между тем, в некоторых областях жизни замены им пока не существует.

Окраина Санкт-Петербурга. Мы сидим в курилке депо с машинистом Павлом Некрасовым, давим бычки о дно консервной банки, по стеклу ручьи дождя. В ногах у Павла, точно собака – дорожная сумка с простенькой снедью, куртка машиниста с погонами. Через три часа ему в рейс. Правда, он пока не знает на чем. Может, на паровозе, а может и на более современном локомотиве, который «топится» электричеством. Петербургское депо чуть ли не единственное на сети дорог, где мгновенно можно переменить время. Некрасов так по эпохам с 1985 года шмыгает. Если маневры, киносъемки или ретро-поезд – фуфайка, рукавицы, копоть. Если, как он выражается, «гонялки» – отутюженная рубашка, ножевое острие на брюках и торжественная спина.

— Что это значит – «гонялки»? – интересуюсь я.

Павел шевелит улыбкой усы.

— Значит, куда пошлют, туда и едешь.

Вообще же машинист Некрасов и в кино давно уже, можно сказать, свой человек. За четверть века на железной дороге успел принять участие в съемках таких фильмов, как «Гибель Империи», «Утомленные солнцем -2», «Есенин», в нескольких музыкальных клипах. Правда, узнать его в тех картинах довольно сложно. То выставленный локоть из окошка паровоза мелькнет, то контровой силуэт его двухметровой фигуры на фоне пышущей жаром топки покажется. Однако эти обстоятельства Павла совсем не огорчают, в кинотеатре он сидит тихо, помалкивает, только иногда ерзает, подмечает: эх, вот здесь вот надо было побольше заслонку открыть, чтоб дым на фоне желтого леса.

Девять месяцев минувшего года Павел был задействован на съемках фильма «Край», где учил актера Машкова управлять паровозом. И «гонялки», вернее гонки на паровозах там тоже присутствовали.

— И что же, в реальности могло такое быть?

— Ой, да сколько угодно. В те-то блаженные времена, да еще в тайге. При нынешних технологиях это, конечно, все можно было бы сделать и на компьютере, как в клипе Леонида Агутина «Паровоз

умчится» – просто прокрутили потом с большей, чем нужно скоростью пленку. Но режиссер Алексей Учитель хотел, чтоб все было как по-правде. И Машков хотел научиться. У него дед в Туле машинистом когда-то был. Меня отрядили на площадку. Я весь чумазый поджидал Володю у подножки, а паровоз на холостых, как кипящий самовар, пыхтит, парит. Он подошел, я и говорю «Добро пожаловать в ад». Он так посмотрел. Потом залезли в кабину, отсюда сипит, оттуда плюется – поначалу ему как-то не по себе было. Но Машков мировой мужик, с невероятной какой-то жаждой жизни. Я видел как паровоз его пугал, но все-таки нравился, ему хотелось научиться.

— Сложно было?

— Мне? Нет. Я ему объяснил, что паровоз нужно чувствовать, как, скажем, коня. Потому что он живой, теплый. Объяснил, что регулятор может так двинуть в челюсть, что мало не покажется. И вот на разъезд 164 километра, там полигон железнодорожный, мы тренировались. Причем, на самом сложном по управляемости паровозе, «Овечке». Там, где было в гору – я ехал, он смотрел. С горки он садился. Я говорю: «Оттолкнись, так, так, поехали». Сначала он так внимательно на все смотрел, интересовался: «Паш, а вот это для чего? Паш, а это что?» Как-то стояли долго, что-то у них там не складывалось, я уходил. А в паровозе же надо, можно сказать, жить. Топить постоянно. Только я собрался уголь пойти покидать, Володя говорит: «Паш, да я уж все сделал. Погрелся маленько. Глянь иди, как? Нормально?»

— Больше всего, говорит Павел, разные киногруппы поражает, когда он готовит яичницу на лопате.

— Это как?

— Ну, меня этому еще старики-паровозники учили. Берешь лопату, ошпариваешь кипяточком, и в топку, чтоб шлак отошел. Потом отмываешь. Маслица туда подсолнечного. Опять нагреваешь. Сало, лук, можно колбасы, если есть. Лопата-то паровозная длинная, пять человек можно накормить.

Дождь прекращается. Некрасову сообщают, что сегодня он следует на ретро-поезде в Царское Село. Он облачается в форму, и мы идем по депо. Два человека у ворот «купают» из шлангов паровоз. От него валит пар.

— Дима, ты «брюхо», «брюхо» - то ему получше помой, – говорит бригадир слесарей Алексей, проходя мимо. Паровоз почищен, «причесан», будто конь перед ярмаркой.

Мы шагаем дальше. Некоторое время назад здесь, в депо Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский на базе нескольких стойл для

промывки так называемых «самоваров» ценой усердных усилий таких энтузиастов как Алексей, и был создан цех по ремонту паровозов.

Восстановление депо стало возможным благодаря умильному интересу к паровозам со стороны иностранцев, которым очень полюбились поездки на этих «железных конях» по российским просторам. Ну, и, конечно, благодаря заказам киношников.

Впрочем, для Алексея и компании – это вовсе декорация прошлого. Для них это настоящая мужская работа.

— Железная дорога – не музей, чтоб хранить раритеты. На ней главенствует принцип целесообразности. Любая техника должна приносить отдачу. Сегодня содержание одного паровоза обходится примерно в 300 тысяч рублей в год. Поэтому для того, чтоб занимать любимым делом, пришлось найти такую нишу. Но все равно, когда какой-нибудь из них просят отрядить для кино, для меня это прямо кинжалом в сердце, – серьезно говорит Алексей. – Потому что им главное снять, что будет с машиной – не так уж и важно, они думают, что паровоз это груда железа. К концу девяностых их тут совсем немного оставалось. Их разрезали, продавали как металлолом, но кое-где еще были. И вот мы, несколько человек («заводилой» был И. Г. Куликов) ездили по базам, так сказать, в целях оказания технической помощи, искали. А когда находили, пытались «приписать» к своему депо. Или детали клянчили. Бывало, и втихаря снимали что-нибудь. Вывозили, что называется, на своих плечах. Некоторые машины приходилось восстанавливать чуть ли не с нуля. Заказывали болванки из котельной стали, точили здесь, благо еще остались специалисты-станочники, которые это умеют. Вообще же ветераны бывают просто счастливы, когда у них интересуются чем-то. Они готовы здесь проводить дни и ночи напролет. Так потихоньку собрали одиннадцать паровозов. В каждом кусок сердца остался, моток нервов, – улыбается он. – Но для нас это не просто машины. Они одушевленные существа. Поэтому хотелось знать их прошлое.

Солнце пробивает тугую взвесь и три отремонтированных локомотива, собравшиеся на поворотном круге, как мужики перед поездкой, стоят, балаболят на холостых.

— Вон та «Овечка», – кивнув на паровоз серии «Ов», говорит Алексей, – 1905 года выпуска. Она попала в плен к финнам. Работала там исправно некое время, но потом забарахлила регулировка перераспределения пара, а финны не знали, как делать расточку цилиндров. И паровоз встал, взбрыкнул, что называется. Так он и был на приколе, пока в 1944 году наши войска туда не пришли. Его пригнали

снова в Питер, а здесь отремонтировали и он пахал на линиях. «Эушка» 1928 года выпуска – вообще героический паровоз. «Участвовала» в Сталинградской битве – живого места на ней не было. Но потом обновили «сердце», работала в депо на «хозяйстве», и сейчас, в общем-то, любимица наша. Неприхотливая, экономичная, надежная. «Сошку» когда-то сделали здесь же. В Петербурге по заказу Уссурийского депо. Своим ходом она прошла всю страну, поработала там, через какое-то время ее отдали в Забайкалье, потом на Урал. И так потихоньку, волей стечения обстоятельств, опять оказалась, в Питере. Так что каждый паровоз со своей, выходит, судьбой. Иной раз характер проявляет, ломаться вдруг каждый день начинает, приходится остужать, латать. Какой-то надо просто обкатать, будто норовистого коня.

Мы еще обходим паровозы, мощные их моторы работают не в такт. Появляется помощник Некрасова Сергей – лет сорока пяти. Вскарабкиваемся по ступенькам в кабину «Овечки». Сергей открывает шуровку, где зыбко шевелиться жар. Подставляем ладони теплу.

Помощник берется за лоснящийся черенок. Камушки угля из тендера ссыпаются ему прямо в лопату.

— И сколько уходит этого угля? – спрашиваю.

— Тонна на сто километров, – ритмично, в такт холостым оборотам орудует он. Когда помощник поворачивается к топке, лицо его бронзовеет. Видны крупные капли пота, струящиеся по желобкам морщин. – Зато замены паровозу в черзвычайных ситуациях на железной дороги ему пока не придумали, – говорит он, передыхая. – Да, есть более мощные, есть более скоростные. Но когда случается что-то… Например, котельная из строя выходит – можно им отапливать целые цеха и жилые дома.

Он снова открывает створки. – Кочегар сегодня заболел, – поясняет. – Вот и приходится за него отдуваться.

— А один умер, – затягиваясь сигаретой, ни с того ни с сего произносит машинист Некрасов. – Сердце. 33 года было пацану.

И он дергает за веревочку с узелком на конце, паровоз издает истошный вопль.

Мы тихо-тихо трогаемся. Меня охватывает какой-то прямо щенячий восторг. Маршрут наш нехитрый. Проследовать к нескольким пассажирским вагонам. Подцепить их. А потом ехать на вокзал. Там эти вагоны будут штурмовать, склочные, как воробьи, школьники, степенные иностранцы. После чего нужно будет доехать до Царского села, забрать там других пассажиров и довезти до вокзала. Это сегодня такой план.

Завтра, может быть, этот паровоз будет работать на маневрах и, как шахматы, двигать по какой-нибудь станции двигать вагоны.

Стоим на перегоне. Пропускаем пассажирский. Паровоз выпускает «из ноздрей» пар. Из пробитого клапана брызжет на котел вода. Котел страшно шипит и парит. Сергей открывает кран, вода с шумом заполняет тендер.

— В паровозе главное не уголь, – говорит он сквозь шум. – В паровозе вода главное. И снова шуровка, открывается, закрывается, после нее в глазах долго держутся солнечные зайчики. Жар скукоживает лицо печеным яблоком. Температура у котла достигает шестидесяти градусов. Курить уже не хочется. А машинисту нашему хоть бы хны. Он ждет зеленый свет и, высунув локоть в окно, прокуривает роскошные усы.

— А я тоже все детство в паровозах провел, – говорит оперевшись на черенок лопаты Сергей.. Вот такой еще был, – он сгибает колени, чтоб показать, каким он был шпинделем, когда отец стал брать его в рейсы. Мы с ним по пути и песни пели, и рассказывал он мне много чего. Так что это своего рода некое возвращение в детство.

— А правда, что раньше машинисты паровозов, обливали фуфайку водой и лезли в топку чинить колосники?

— Да и сейчас так, – изумляется он, делая брови домиком. – А как иначе, чтоб его остудить, нужно минимум шесть часов. А потом еще растуганить столько же. А где столько времени взять? Вот и залезаем туда, поработаешь немножко, высунешь голову, воздуха глотнешь и обратно. Но надо обязательно, чтоб еще один человек рядом был.

— Он залезает туда, а я с этой стороны шуровку проволокой заматываю, – смеется машинист.

Защелкала рация, раздался голос. Дали зеленый. Некрасов отогнул ручку регулятора.

— Вода и пары в норме, – произнес помощник.

— Вода и пары в норме, – отозвался машинист.

— Локомотивный зеленый, – твердит помощник.

— Локомотивный зеленый, – эхом откликается другой.

Разговор инопланетян!

Стрелки манометров и давления тихонько подрагивают.

Из окон струится осенний ветерок. Но от жары не спасает.

Мы едем и люди на станциях, завидев паровоз, машут руками, улыбаются, фотографируют мобильниками. Мокрый Питер плывет за окном.

На вокзале гомонящая толпа иностранцев за вычурным металлическим забором, глаза у всех, как у Чебурашки из мультфильма.

Пока стоим, Сергей убегает в буфет за пирожками. Я кидаю уголь в топку. Трудно дышать. Потом пересаживаюсь в вагон, в кабине нельзя – безопасность движения. Немцы, французы, итальянцы, как дикие, фотографируют все, что попадается на глаза. Их речи на три четверти состоят из восторженных междометий. Они дуреют от увиденного.

К вечеру, я опять перебираюсь в кабину. Паровоз со скоростью пятьдесят километров в час везет нас обратно в депо. Но, кажется, что меж многоэтажек с зажигающимися огнями мы летим.

Когда заправляемся водой уже в депо, Некрасову сообщают, что завтра опять на «Овечку». Он не подпрыгивает до потолка, не говорит «ейс», сжав ладонь в кулак, а три раза, обозначая остановку, дергает за веревочку с узелком на конце, паровоз трубит, как олень в брачный период.

Затем, когда едем по домам на электричке, говорит:

— Кто-то марки собирает, кто-то бабочек изучает, а для кого-то жизнь без этого вот этого огнедышащего железа почему-то неполная. Прямо вот не хватает чего-то. Так, бывает, намаешься, устанешь чертовски, клянешь всю эту работу. А утром приходишь, подкинешь угольку, бросишь спичку в топку, и машина начинает потихоньку оживать.

Осень в Мещере

В тридцать девятом году писатель Паустовский явил на свет дивную повесть «Мещерская сторона». Хрустальным своим языком поведал он о тихих закатах, бакенщиках и паромщиках. Другой писатель, Пришвин, за эту повесть на него крепко обиделся. Ежу понятно, совсем не ревность взыграла в великом старце, просто – болел он душой за тот уголок. И в каком-то из журналов Пришвин ругательски ругал Паустовского за то, что туристы в панамках 30-х годов теперь ринутся туда, и истопчут все ромашки и донники.

И вот сегодня в Мещере век XXI. У каждой старухи мобильник, в сельмаге – колбаса семи-восьми видов, трактора по лизингу – немецкие. Но отчего-то больше недели не работают, противятся всем бюргерским нутром.

— Говно, – отрекомендовывают их механизаторы. – К нашей земле непривышные.

Впрочем, у руководства на сей счет другая, отличная точка зрения. Как только трактора да комбайны приходят, механизаторы тотчас откручивают магнитолы. А поскольку немцы народ до оскомины последовательный, то собирают они эту технику так, что одно без другого не работает.

Вот и выходит, что с тех незабвенных, пришвинских пор здесь мало что изменилось. И хотя до белокаменной отсюда всего – ничего, тамошние события воспринимаются в Мещере не иначе, как события, творящиеся на Луне.

Здесь не любят трындеть о политике. Зато спроси этот люд о бедах, он без утайки выложит тебе все. Но как-то без нытья. Иронизируя и подтрунивая над собой.

Три дня с режиссером одного из рязанских театров мы колесили по тем местам на велосипедах.

...Быть на Рязанщине и не заехать в Константиново – дурной тон. В какое-то тургеневское теплое, как молоко, туманное утро едва разглядели мы зеленеющую крышу усадьбы помещицы Кашиной, прототипа Анны Снегиной. Бродили по тропинкам. Пили чай на веранде. Здесь создан музей одной поэмы. Фотографии, письма. Уже на выходе из усадьбы экскурсовод показал английскую книгу переводов.

— Самые точные, – сказал он. – И ритм, и рифмы сохранены.

Но поэзия, как говаривал соперник Есенина Клюев, штуковина пресволочнейшая. Растет, как известно, из сора. Начинается, как всякое

искусство, «с чуть-чуть». И исчезает, наверное, от едва уловимого, необъяснимого. Мы листали эту книгу. И в самом деле, сохранены были и ритм, и рифмы. Поэзии не было.

— Вот еще, – сказал экскурсовод, протягивая амбарную тетрадь. – Показываем всем, как курьез. Вести дальше не стали.

Это был отзыв Жириновского, написанный мелким почерком. Целая страница излияний. И начинается так сильно: «Здравствуй, Сережа...»

Затем мы еще долго бродили по скрипучим половицам музея и к вечеру тронулись дальше.

Пекли картошку возле озера. На огонек приехал в телеге пастух. Долго сидел, курил. Указал, где спрятана лодка. Дернул за вожжи уснувшего мерина и узвенел телегой в соседнюю деревню за самогоном.

К утру, пастух вернулся без самогона, но с доярками. Они то и дело хохотали и запрокидывали назад головы, как кокетливые курсистки.

Я уложил в лодку удочки, одежду и, огребаясь единственным веслом, уплыл в самый конец водоема. Привязал лодку к сухой ветле, расчистил в водорослях «окно» и таскал оттуда добротных таких карасей. Где-то далеко у пропахших коровьими лепешками калд «били» перепела и дивным матом орали доярки.

Абсцентная лексика в сочетании с удивительными диалектными выражениями здесь вообще своего рода искусство. Если уж пошлют, то так красиво, что и не обидно. Посещавший эти места несколько лет назад немецкий журналист Томас Авенариус был просто в каком-то языческом восторге от крепкого русского словца. Приехав писать об охоте на волков, он два вечера подряд пил с одним трактористом самогон и записывал в блокнот его выражения. Затем у служителя пера из мюнхенской «Zeitung» осоловели глаза, остановилась рука, и он упал на стол. Тракторист влил в себя еще энное количество алкогольной влаги, махнул на немца рукой и ушел.

Но, пожалуй, самый искусный по части мата в Мещере дед по прозвищу Бандит. Немного жаль, что в печати невозможно выдать всех изысков его весьма аутентичной речи. Если бы дед захотел, то мог бы запросто заткнуть за пояс изрядное число академиков из Института русского языка им. Виноградова.

Впрочем, известен Бандит не только этим. Ходить к нему нам не советовали. «Человек он пропащий, – говорили о нем. – Даже кота своего споил».

Бандита дома не было. По старинке подпертая палкою дверь. Ни замка, ни запирки. Меж двойных рам пыльного окна, в паутине, дрожала бабочка. Тощий кот сидел на крыльце и усердно тер лапой

правый глаз. Выражение морды у кота было таким, будто он не выходил из запоя неделю или съел что-нибудь непотребное.

Мы уж было, хотели уехать, так и не дождавшись старика. Но тут в вечерней тишине и запахе парного молока раздался скрип его телеги. Я разглядел его. Большие, удивительно свежие голубые глаза. Седая борода. Наполеоновская треуголка и китель времен 1812 года. Распрягая мерина, он выдал несколько матерных тирад, потом спросил:

— Чьи будете?

— Издалека мы. Журналисты, – молвил я.

— А-а... п….болы, – усмехнувшись глазами, сказал он.

— Выпить есть? – отогнув большой палец и мизинец, показал он.

Я кивнул на рюкзак.

— Заходи, – сказал Бандит. Кот брел за нами.

— Иди-и-и, пропойца, – открывая дверь, сказал он. – Веришь – нет, больше меня, сука, пьет. Сперва морщился, чхал, а потом как расчухал. Щас стакан одним махом, – бравадно гиперболизировал дед.

Достал с занавешенной полки стаканы, дунул в них и поставил на стол.

— Вот, гляди, – сказал он. Плеснул коту в порожнюю консервную банку. Кот жадно стал лакать.

— Ети его мать, – ухмылялся старик. – Понимаешь, – обратился он опять почему-то к моему напарнику, – одному пить херово. Этот еще тут ходит, орет. Дай, думаю, налью. И, знаешь, жизнь у нас щас пошла йо-о-о.

— Как звать-то его? – спросил я, надеясь услышать что-то вроде Кузьмы. Имя у кота оказалось весьма благородное, подобающее – Дрыщ.

— Больно утром ему паскудно бывает, – сказал дед. – Горлышки у бутылок прямо грызет, орет... Но я с вечера ему немного оставляю, – нежно добавил он.

Я ерзал на стуле. Не давала покоя его одежка. Треуголка и китель с эполетами.

— Откуда это? поинтересовался я.

— А-а. Был тут у нас театр один из Мурома, – степенно пояснил он. – Сошелся я с костюмершей. Все гастроли употребляли с ней по чуть-чуть. Ну... по литру после спектакля. Душевная баба. Уезжая, отписала мне эту одежу.

— Рассказывают, что когда-то ты искурил письма Пушкина? – говорю я.

— Кто сказал? – недовольно бубнит Бандит.

— Говорят...

— Говорят. До хрена че говорят, – он старался держать себя в рамках... – А ты в залупу-то не лезь, – сказал он сердито. Затушил папироску о подошву калоши, задумался, кинул бычок к порогу.

— Я ж не знал, что это его письма.

Он скрутил новую цигарку и, отплевывая крупинки махорки, сказал.

— Читал. Писано, как курица лапой. Бабе какой-то писал. Мол, ангел мой, люблю тебя. Тьфу.

— Откуда они у тебя?

— Батя мой раскулачивал усадьбы. Раскулачивали, сам знаешь, как. Расстреляют кого можно. Потом разбираются, че к чему. Батька впопыхах схватил старый ридикюль с бумагами и ассигнациями. Думал, ценное че. А там денег-то – кот наплакал. Записки какие-то и эти письма. Он закинул его на чердак. Всю войну там пролежал. А году где-то в 50-м собрался я крышу железом крыть. Стащил бумаги. Порылся. Которые в печку, которые искурил. А письма эти долго валялись на окошке. Так и не смог прочесть толком. Почерк был никудышный. Как-то бумаги не было, я их и искурил. Приезжала потом с Питера какая-то фифа и очкарик с ней, спрашивали. «Хватились, говорю им. Уж я из них давно дым пустил. Все – дым, – философично заключил он… «Откуда-то узнали, что это письма Пушкина. Кто ж знал. Но с другой стороны – и правильно. Ежели б письма были какому-нибудь князю Вяземскому – дело другое, – щегольнул он знанием истории. – А тут... бабе. Эти бабы его в гроб вогнали. Скажу тебе: все беды из-за баб. Вот Есенин был. Тоже из-за баб сгинул. Говорят, алкаш был. А из-за кого он пил-то, спрашивается? Ты мне скажи? – дед яро смотрел на меня.

— Не... все беды из-за баб, – согласился сам собою.

Помолчав, он поправил эполет и сказал: – Но ведь, б.., и без них никуда. Не будь их – стихов таких, поди, не было бы. Вот так, щелкоперы, – обратился он к нам. – Жизнь – мудреная штука. Это вам не писульки в газете чиркать или начальство обкакивать. Бандит еще выпил и сказал:

— Завтра утром еду за жердями в Америку.

— Куда?

— В Америку, – степенно ответил он. – Тут недалеко. Верст семь будет.

Я, не отрываясь, смотрел на старика.

— Че глядишь. Деревня есть такая. Советская Америка. Крестьян, которые не поддавались раскулачиванию, сюда выселили. То ли сами они назвали, то ли в райсовете прикололись. Но название прижилось.

Кореш у меня оттуда был, у него прямо в паспорте стояло место рождения Сов. Америка. Хотя сейчас нету там ничего.

Часов с четырех утра спать было невозможно. Где-то на дальних озерах, как барышни, не устоявшие перед курортным романом, кричали журавли. Пахло дымом из печей и горячим хлебом. Сонный кот сидел у порога и щурился от пыльного луча солнца.

Бандит запряг мерина и, чмокнув, потянул вожжи. Темные следы от тележных колес остались на росе. По тихим еще лугам тянулись копны сена. Пролетела цапля, крикнула.

Мы долго ехали по лесу. Потом блеснуло, как стекляшка в чеховском рассказе, озеро. Сгнивший дубовый крест да одинокая изба. Это все, что осталось от деревни в 33 двора.

— П….ц Америке, – сказал дед.

Я зашел в избу. Выцветшие фотокарточки каких-то людей валялись в старом комоде среди тополиных семян, шпулек без ниток. Керосиновая лампа висела на гвозде. Когда-то кому-то светила она.

Принялись рубить жерди. Бандит сказал, что хочет изготовить длинные оглобли и достать со дна озера свой старый мотоцикл «Panoni». Года два назад он по-пьяни упал на нем с откоса. Сперва, говорит, махнул рукой: хрен с ним. Теперь вот ветра захотелось.

Мы ныряли с товарищем до вечера. Резало глаза, сморщились, как в детстве после ловли головастиков, ладони. Мотоцикла не было.

Дед сидел, засучив штаны на берегу, и командовал:

— Правее, к осоке. Да куда ты, йо-мое. Во-от.

Наконец, мы плюнули и пошли на берег. Развели костер. Бандит достал хлеб и сало.

Еще раз глянул на плотину.

— Вроде отсюда я навернулся. А может, и нет, – рассуждал он сам с собою. – Потом еще кого-нибудь попрошу. Хороший был мотоцикл, трофейный.

— А когда утопил? – поинтересовался мой товарищ.

Дед сощурился, вскинул глаза к небу:

— В семьдесят девятом, кажись. Точно. Я тогда еще здесь начальником был. Тюремной фермой заведовал. Ну, свиней, овец выращивали. План перевыполнял. Пятилетку давал за два года. У, что ты. Денег как у короля было.

Мы переглянулись.

Уже темнело. Я снял с телеги велосипеды.

— Чешите щас во-о-он на тот огонек. Потом возьмете влево и езжайте вдоль Оки до самой станции, – объяснял Бандит дорогу.

— Ну, бывайте.

Сухими, с черными ободками под ногтями, пальцами, Бандит сжал нам ладони и ухмыльнулся. – Хорошие вы ребята, хоть и п….болы…

Остров белых ворон

Татьяне Федоровне Горбаевой

Сейчас, когда я пишу эти строчки, под настольной лампой лежит ржавая подкова. Это все, что осталось у меня от Острова белых ворон. Впрочем, есть еще несколько исписанных страниц, узелок с сушеными карасями да воспоминания о двух встречах с бабой Таней.

Уже много лет этого места нет ни на одной карте. А баба Таня есть. Живет там одна-одинешенька. Удит увесистых карасей, палит из старой берданки и тужит о русском хоккее. Первый раз я приезжал туда осенью, когда ветер уносил куда-то журавлей, и бесконечной тоской тянулись по полям ометы соломы. Второй раз – этой зимой.

Осень.

Баба Таня по-старообрядчески крестит зевающий рот и говорит, будто словарь Даля читает.

— Слушай, Володька. Ты про меня не пиши. Нешто я артистка какая, или, скажем, политик?

В потемках она зажигает керосиновую лампу и раскрывает заложенные сухой полынью рассказы Бунина. «Это было давно. Это было бесконечно давно... Потому что та жизнь, которой мы все тогда жили, не вернется уже вовеки». За окном на озере плачет выпь.

Поутру она снова пойдет на воду проверять поставленные с вечера в ивах «морды» (рыболовные снасти, плетенные из ивовых прутьев).

— Нет, ноне ветер не тот, с севера. Ничего не будет.

Этой деревни, расположенной неподалеку от старинного городка Краснослободска (Мордовия), лет двадцать уже нет ни на одной карте. Здесь, как на старой пожелтевшей фотографии, остановилась целая эпоха чугунных утюгов, тусклых лучин и разудалых, загульных песен. Когда-то дворяне от себя подальше высылали сюда чересчур шебутных и острых на язык крестьян. Но вышло так, что, сами того не ведая, создали этакий остров белых ворон. Любой из здешних деревенских был прежде всего человеком неординарным, чудиком, скоморохом.

Восемь десятилетий с веток старого клена падали в осеннюю воду листья, и столько же раз ложился на поля первый снег. Все это время живет здесь баба Таня.

Здесь, под этим небом, все проходило – и досада, и тоска, и злость. Оставались только молчаливая мудрость да «бой» перепелов, которым нет никакого дела до человеческих страданий и обид.

Сидим с бабой Таней на берегу озера. Варим уху.

— Когда-то тут повсюду леса были, – говорит она нараспев, – разбойников тьма была. Старики сказывали, что Разин в этих местах ворованное золото прятал. Ноне – поля одни да три двора, а из них только мой и жилой-то. А вот в том доме летошний год волк зимовал. Приволокся откуда-то, тощий, облезлый. Каждый вечер выйдет в поле и воет, как оглашенный. Жалко было, я ему хлеб в окно кидала.

В сенях у бабы Тани, на стене, висят различные рыболовные снасти. О многих секретах ужения поведала она за ухой. Рассказывала, что карп мечет икру, когда зацветает рожь. И что так называемый белый карась очень редко попадается в «морду», зато хорошо идет на навозного червя, политого подсолнечным маслом. Она сама латает дыры в сетках, а по закату определяет завтрашний улов.

— Давай еще подолью ухи-то, – говорит она. – Вот. А за теми вон ветлами еще одно озеро есть. Правда, мелкое больно. Каждый год я с этого большого в то мальков по весне пускаю. Осенью, когда мелкое почти пересыхает, приходит лось воды напиться, оставляет копытами ямки, караси туды и набиваются. А я уж – тут как тут. И мотыгой-то их – р-раз из этих ямок. Нынешней осенью два ведра засолила. Ты ешь, ешь, не сомневайся.

В свои восемь с лишним десятков баба Таня ловко лазает по деревьям и кладет в гнезда выпавших птенцов. А еще по праздникам, на Покров или на Пасху, когда приезжает на лошади из соседней деревни ее золовка, она танцует ламбаду. Кричит, приплясывая: «Выходи давай, оттопыримся!»

Совсем недавно прочла «Отцы и дети» Тургенева. Роман ей вовсе даже не понравился. «Надо было этого Базарова сразу в подпаски отдать».

Читать научилась, когда растила шестерых детей.

— Бывало, придут из школы, уложишь спать и складываешь по слогам. А вот таблицу умножения только на пальцах.

Кроме книг и рыбалки баба Таня очень любит... хоккей.

— Теперь наши плохо играют, – сетует она. – Вот раньше, годов 13, наверное, за лишком – тогда у меня еще и свет был, и телевизор казал... Так вот. Чуть боле двадцати секунд до конца игры оставалось, а наши американцам проигрывали. Счет – 1:2. Я зажгла лампадку, Пресвятую Богородицу почитала. И ведь выиграли! Как щас помню, Фетисов забил.

Мы сидим еще долго, пока угли не покрываются пеплом. Выпь давно уже перестала плакать. И только возле линии горизонта плыл и плыл куда-то тлеющий огонек.

Это было прошлой осенью. Потом она уехала. Приехали дети и почти насильно увезли в город. Но она не выдержала и в последних числах января сбежала.

Зима.

И вот я снова, отмеряв семнадцать верст на лыжах, в ее теплой избе. Ворошу угли в печке.

— Как там Путин-то? – спрашивает она, сидя за прялкой возле окна. – Съездил в Корею?

— Съездил.

— А жану его видал когда. Как она из себя?

— Ничего.

— Ну, и слава Богу.

Целый вечер мы слушаем пластинки. И под убогий свет керосинки разбираем фотографии. Шуршит из старенького патефона голос Вертинского, вылинявшие фотокарточки перекладываются из стопки в стопку. Моряк, издырявленный бумажным червем, мужики едущие куда-то в плетеных санях, лицо женщины с проваленными глазами 50-х.

— Это Матрена, по-моему, – говорит баба Таня, долго вглядываясь. – Огонь была баба. Как-то повадилась она ввечеру по озеру в деревянном корыте плавать. С этой, как ее, с гитарой. Плывет и поет какие-то мудреные песни. На торфу в Сверловском, видать, выучила. Мужик у нее был – Тришка – чудак тоже. Ведь че придумал, враг! Прорезал в простыне дырки для глаз и как-то вечером, как только Матрена подплыла к берегу, он, окаянный, накинул на себя эту простыню и как завоет: «У-у-у». Она, бедная, с корыта вывалилась. Чуть в портки не нассала. И больше на озеро сроду не ходила.

А это Олечка, которая трепалась с одним бандитом и ушла к нему пешком на Урал с двумя детьми.

Это, постой, не разгляжу никак. Машка Черная. Нраву крутого была баба. Могла потихоньку одна четверть самогону выпить. И потом еще верхом на лошади поехать в соседнюю деревню, в сельмаг, за красненькой. У нее была единственная на всю округу курительная трубка. Говорила, что писатель Горький подарил.

— Семен Костькин. Хлебнул тоже горюшка. Но веселый был человек. Поставит, бывал, флягу медовухи на чердаке и потихоньку попивает. А Дунька его заметит и запрет. А он, зараза, отомкнет замок гвоздем, напьется, и слезть никак не может. С чердака-то. Сидит на крыше, как петух, и во всю глотку орет: «Черный во-о-рон». Рыбак был к тому же страшный. Только ловил уж больно чудно. Удочку закидывал из-за спины. Кто ж так кидает? Сперва как даст этой удочкой по воде, а потом

в воду летели поплавок и все остальное. Я ему говорила. А он только посмеивался: «По башке-то, говорит, дам этому карасю. Он потом сам ко мне на пустой крючок кидается». И ведь ловил...

Потрескивает фитиль в керосинке. Бьется маятник в часах.

Утром меня разбудил выстрел. Баба Таня явилась, закутанная шалью до самых глаз и прислонила к печке берданку с рассохшимся прикладом.

— Че-то тоска меня взяла, – объяснила она. – Маленько кровь разогнала. Да и волков пострашать надо. Нынешней зимой в избе по ту сторону озера опять жил. Наверно, тот самый.

Я взял берданку и, засыпая в валенки снег, побрел к дому. Но нашел только облезлую ушанку на гвозде, съеденный мышами ридикюль и ржавый фонарь. В раме без стекла брошенным щенком скулил ветер.

А потом мы чинили «морды». Откапывали лодку из-под снега. И я стал собираться обратно. Надо было еще добраться до райцентра, отдать лыжи охотнику и успеть на ночной поезд. Как раз в этот момент приехала из соседней деревни золовка. «С ней и поедешь», – сказала баба Таня.

Мы долго говорили. Выпили самогона. Потом они пели, а я на улице грел ладони в легком дыхании лошади.

Дрожащая звезда взошла над полями. Баба Таня вышла проводить нас на крыльцо. Мы уже тронулись, как она вдруг спохватилась, крикнула «стой» и исчезла в сенях.

Через мгновенье вернулась. Сутулясь и пригибаясь к земле, догнала сани и сунула мне в руки узелок с сушеными карасями.

Последний праздник

в гостях у родины

В мордовском селе Алькино, в единственном, пожалуй, на планете, существует древний языческий праздник Авань-поза. Если заглянуть в мокшанско-русский словарь, то все покажется фольклорным притворством, ряженым пустяком: Авань (женщина, хозяйка), поза (ну, поза – квас из каленых на солнце лепешек, замешанных на сушеных цветах клевера и пареной свеклы). В этот день хозяйка позы напяливает на себя шестнадцатикилограммовый национальный костюм, задабривает богиню полей (первый ковш напитка поутру она выносит за околицу и окропляет простор). Затем, под небо, возле дома выставляется кадушка с густым варевом, и продолжаются гулянья, хороводы, песни. Когда-то это был просто праздник перед изматывающими летними буднями. Сегодня, когда жители села разбросаны по необъятным просторам, это еще и ничем не закомуфлированная радость встречи, бесконечные беседы, жалобы, планы, слезы и воспоминанья о лазаньях по садам за яблоками, вот таких вот лещах у затона и всякое другое.

Наведаться в село мы с товарищем решили загодя. У товарища там дело. В заплечном его рюкзаке горсть земли с кубанских степей, в которой с военной поры покоится его дед. Захоронение искал отец, дядьки, тетушки, но кому-то не хватало образования, кому-то времени, а товарищ, размотав путаницу в документах, минувшей зимой нашел. Мелкие и едва разбираемые, точно у терапевта, строчки сообщали, что там, у станицы Лабинской вставали и ложились, вставали и ложились целые взводы, бригады, и остался чуть ли не весь полк.

…И вот от большака мы топаем, топаем. Над головами, будто на ниточках висят невидимые жаворонки. И земля мреет, дышит в лицо разнотравьем. Первый же взмах руки, проезжающей мимо шестерке оказывается удачным. Мы усаживаемся на заднее сиденье, у меня под ногами на коврике несколько сельдей в полиэтиленовом пакете, у товарища – аккумулятор.

— А я всегда останавливаюсь, – весело заводит разговор возница, – иной раз машина сдохнет, чешешь вот так, а попутка мимо. Эх, херами его обложишь вслед…Поэтому и не хочу, чтоб меня так же, – улыбается он нам, развернувшись вполоборота. Потом деловито спрашивает:

— Рыбаки?

— Не, – говорит товарищ, – туристы.

— А-а. Туристу тут хорошо. Этот, как его, экстрим… А я вчера смотрел по телевизору передачу, дескать, что нам делать с сельским хозяйством? Микрофона не было, а то бы я им сказал.

— Саты, еню шибко, – толкает его локтем в бок жена. (Хватит, умный больно).

Он на время умолкает, хмыкает о чем-то своем. Когда через пятнадцать километров у деревни Янг Майдан, мы пытаемся всучить ему немного денег, на лицо ложиться грустная тень.

— Аш, говорит он сурово.

И снова идем вдоль полей, холмов, речушек, в которых нестерпимое солнце.

— Ниче себе дорогу сделали, – удивляется товарищ. – Кому? Раньше, когда народ был, тут такое месиво стояло, ЗИЛы переворачивались. Дорогу за это вонючкой звали. Здесь овчарен куча была, а на ЗИЛах туда кильку возили, чтоб шерсть у овец лоснилась. Тюки с мороженой рыбой падали, какие-то подбирали деревенские, какие-то тухли прямо здесь.

А как-то случился перебой с килькой, стали креветок сюда поставлять. Мужики звали их зелеными червячками, гнушались есть. Потом приехал здешний дядька, который работал на бортовой машине в Москве, наварил их в чугуне, смотался в городок Ковылкино, что в тридцати километрах отсюда, набрал пива и закатил роскошную пьянку. С тех пор червячки овцам почти не доставались.

Нас обгоняет заляпанный по самую крышу трактор «Беларусь», притормаживает. Из кабины высовывается косматая башка и, пересиливая шум мотора, что-то орет. Езжай, машем мы ему, но он ослепляет нас благодушной с золотом зубов улыбкой.

— К дядь Феде едем, – кричит мой товарищ.

— Водка? Водка есть, – все так же широко и размашисто лыбится тракторист. – А больше нет ни х.. .

Дергает за рычаг, козырно ставя железного своего «коня» на дыбы, и уносится.

Нынешнее село Алькино отличается от тысяч других сел, разбросанных по карте родины, разве что какой-то неконтролируемой умопомрачительной колонией кукушек. Взахлеб перебивая друг друга, они обещают селянину вечную жизнь. И не одну. А в остальном – все, как и везде. Внушительные прорехи меж почерневших бревенчатых изб с уникальной резьбой в наличниках, обвалившиеся крыши и пустые глазницы окон. Сегодня отчего-то никто не заколачивает их крест-накрест тесиной. Может быть, потому, что раньше избы эти хоть и

покинутые, но служили уехавшему человеку тылом, местом, куда всегда можно вернуться. А теперь?

У дядьки моего товарища добротное, крепкое хозяйство. Две коровы, восемь племенных быков, поросята, утки, куры. Трактор и уазик без номеров и документов. Прежний автомобиль он сдал по программе утилизации, в счет Газели, которую приобрел в Москве для одного из трех сыновей. Теперь гасит кредит (24 тысячи в месяц) за счет мяса. Сам, говорит, не торгует, сдает по дешевке перекупщикам-коммерсантам по 140 рублей за килограмм. Когда-то дядя Федя был председателем здешнего колхоза. Перевыполнял соцобязательства. А в 90-е ветеринар вдруг обнаружил неизвестную липовую чуму у значительной части баранов и ярок. Подделал справку, расторопно толкнул мясо оптом, и с мешком билетов банка России был таков. Оставшуюся часть поголовья дяде Феде пришлось свезти в прокуратуру, чтоб не посадили.

В роскошном саду с косыми лучами тихонько выпиваем, закусываем. Щеки гладят ветки цветущих яблонь.

— Здарова, – через забор кричит сосед, механизатор Валера. – Все пьете?

И тут же, будто бы сам себе замечает:

— Бляха-муха, а я, похож, дома сегодня не ночевал. Ну, конечно, не ночевал. Следов-то нет.

Пока топиться баня, решаем съездить на кладбище. По улице, изрезанный гусеницами, ведет проселок, забирает вверх. Вдруг приходит смс-ка от человека, который, казалось и думать о тебе забыл «Ты где?». Я отвечаю честно. Но телефон упорно выдает «Ошибка». Мобильная связь в Алькино присутствует только на кладбище, и то, как утверждает дядя Федя, есть только одна палка.

Неподалеку от ворот вечный покой сторожат два прислоненных к забору исполинских креста.

— Кого-то хоронят? – интересуемся мы.

— Да нет, два московских племянника баб Маши привезли как-то по осени сюда, кому – непонятно. Так и гниют тут. И сами не объявлялись.

Кривые кресты уступами взбираются на холм, к облакам. Крапива тут имеет особую могильную сочность. Трава вдоль облупленных оград, впрочем, скошена. Пахнет сеном. С овальных фотографий смотрят чьи-то чужие ни разу не встреченные лица.

— Тут приезжал как-то один фермер из Германии, хотел в аренду землю взять, – усмехаясь, молвит дядя Федя, – Вынюхивал, мол, чего в вашем селе хорошо растет? Ну, я ему и сказал: кладбище, бля.

Единственная, пожалуй, говорю, программа правительства (по переселению граждан), которая работает. Не наврали.

— И что он?

— А ничего. Покивал да уехал.

В твердой, спрессованной уже могиле над бабушкой, товарищ делает крохотную ямку, без всяких торжеств высыпает туда из кулечка далекую землю, разравнивает. Только пыльное облачко, как от выстрела из винтовки Дергунова, поднимается и летит, летит.

Стоим на теплом ветру, отсюда с высоты – село, как на картонном макете. К нему бегут со всех сторон реки одуванчиков, сходятся, расходятся, двоятся, расползаются и сплетаются.

— Что это?

— Когда-то дороги были, – безразлично отвечает наш провожатый.

Вечером едем в местный клуб. Дядя Федя там и за ди-джея и за истопника, и за секьюрити. Фары выхватывают из тьмы здание типовой советской постройки. С синими чайками над прямоугольниками окон, с увековеченными в кирпиче (не стереть) постановлениями какого-то съезда КПСС о культуре и просвещении. У входа – ни души. Дядя Федя зажигает свет и включает «Валенки, валенки» в аранжировке типа тынц-тынц. Внутри круглая печь, по стенам фотографии главы республики с первыми лицами государств. Приличная цветомузыка, на столе кипа газет и запах чего-то далекого уютного. Играем в домино, прячем костяшки во влажнеющих ладонях. Вдруг за окном раздается какой-то рев и глухой удар.

Мы выходим на улицу. Из белой, сплющенной, «копейки», остановившейся только с помощью электрической опоры, через давно отсутствующее лобовое стекло вылезает человек десять парней и девушек.

— А других тормозов нет, что ли? – спрашивает дядя Федя.

— Давно, – отвечает водитель. – Федор Иваныч, воткни, пожалуйста, вот это, – протягивает он диск.

Из колонок льется «Металлика». Толпа пускается в какие-то шаманские танцы.

— Черти, – то ли одобрительно, то ли задумчиво, говорит дядя Федя.

* * *

Наутро по селу ползут, переваливаясь с боку на бок, вереницы разномастных автомобилей. У приземистых, с покосившимися наличниками, изб останавливаются джипы и прочие иномарки. По цифрам на правом боку можно играть в города. А хозяйка позы Елена с мужем Александром уже выставили столы и флягу с позой. И улица

расцвела мордовскими нарядами, заголосила непонятными песнями. Сколько раз потом садились за столы, никто уже толком не помнил. Кто-то уходил в тенек, кто-то шел на реку освежиться.

— А вот тут мы с дядей Колей запускали подлодку, – рассказывал моряк Сергей с Северодвинска своему восьмилетнему сыну, попавшему в Алькино в первый раз. – Правда, батареек ненадолго хватало и однажды она так и осталась где-то в тине.

— А помнишь, как вон там ты сдох во время физкультурного кросса в девятом классе, – подначивал капитана его товарищ, тот самый Колька.

— Да, ладно, – как пацан тушуется тот.

Ходили на родник, вспоминали, вспоминали, вспоминали. Ночное, лошадей, поцелуи, страдания.

Механизатор Валера кормил блинами со стола огромного пса. Тот сглатывал их, не жуя. А Валера кому-то доказывал.

— Человек свободен в одном только моменте: или туда или сюда. Зачем мы каждое утро встаем? Да надо, я обещал. А потом вдруг понимаешь: чепуху обещал. Зачем? Деньги, еще что-то. И все начинает из рук сыпаться. Нужна простота какая-то. Как есть, так есть. Вот я не мог, потом мог, потом опять не мог. Курил, не курил, опять закурил. Вечная борьба, как говорили мудрые: «Праздник каждого дня – удаление от греха». На этих словах он положил щеку на стол и уснул.

Кругом, разбившись на кучки по интересам, плясали, перебивая друг друга, что-то рассказывали. На закате флягу с гущей, продев в крышку палку, отнесли в соседнюю избу, деду Игнату. Но он ее не принял. Изготовить триста-четыреста литров на следующий год, для этого надо и силы и средства. У него не было ни того ни другого От задней калитки, с забитого сорняком огорода, дядя Игнат, долго смотрел, оперевшись на бадик, как флягу отнесли в поле и с мордовскими молитвами предали закваску пашне. Земля равнодушно впитала. А улица лишилась этого праздника навсегда. Такова традиция. Но почему-то не было грустно. Пусть не этот праздник, но какой-нибудь другой, например, Троица, которая есть и будет, все равно поманит сюда.

А потом мы увидели водителя, который нас подбросил. Он оказался директором школы в соседнем селе.

— Две уже закрыл, – даже как-то виновато сказал он.

— То есть?

— Ну, только приду, начну что-то там придумывать, внедрять – школе через год каюк, упразднят, – говорит он. – Вот и в этой дорабатываю

учебный год и все. Правда, сюда, в Алькино, зовут. Но я противлюсь. А ну как закроется, меня тут проклянут.

Он немного помолчал.

— А тут, извините, родина.

— Да что вы знаете про деревню? – просыпается опять механизатор Валера. – Она же неисчерпаема, как хороший колодец. И все, что вы про нее придумаете, будет куцым, клешированным штампом. Как говорил, Шекспир, слова одни скрывают всегда слова другие.

Я смотрю на дядю Федю.

— А что, да, он у нас знаешь какой начитанный.

— А Бунин ваш – рефлексирующий слюнтяй, – почему-то говорит Валера и опять засыпает.

Звезды над головой, хоть охапками рви, как ромашки. На краю стола горит старый фонарь «Летучая мышь». О стекло звенит мошкара, кукушки где-то в отдалении никак не уймутся. Женщины, позвякивая монистами, убирают посуду. На скмейке только мы и Валера.

— Жену иногда пугаю, – мямлит он. – Мол, надоело все, умереть хочу. Но каждому свой срок. Я раньше думал: «Почему на кресте изображены череп и кости?» да потому что от всех твоих желаний, суеты только они и останутся. Христос сказал: «Как застану, так и возьму. Умереть можно каждую секунду. Поэтому всегда надо быть на стреме.

Мы уже собирались уходить, как к столу из темени явилась старуха. На ней была шуба и войлочные сапоги. Потом выяснилось, что это Вера – местная сумасшедшая. В переходе на Пушкинской, в Москве, во время теракта у нее остались муж и дочь, ездившие ей за цигейковой шубой. Теперь в ней вот она и ходит.

— Ты кто?- спросил Валера.

— Жак Ив Кусто, – был ему ответ.

Он наполнил стакан самогоном, себе и ей, чокнулся, выпил. И запел.

Про старую старуху

Ехать осенью в Болдино, когда там все кишмя кишит от неуправляемых школьников и дородные тетушки, прибывшие на автобусах от профсоюзной ячейки, втихаря распивают по закуткам дешевый коньяк, затея дурацкая. Но к приятелю, режиссеру-документалисту, приехали итальянские коллеги.

Минувшим летом они помогли ему попасть в первые ряды с камерой на флорентийские лошадиные бега палео, которые проводятся с 16 века, а теперь желали запечатлеть на цифровое видео русское поле, деревенскую драку и главное чудо мировой литературы, где «написано столько и такого». Поле и драку мы, конечно, могли организовать, не углубляясь в широты, а в Болдино надо было тащиться.

До Нижнего добрались поездом, часа полтора неподалеку от вокзала, давились кофе в макдональдсе. Ждали провожатого Сергея Шапошникова. Краеведа, доктора филологических наук, музыканта, персонажа в некотором смысле шутовского, скоморошьего.

Вот уже десять лет он живет в деревне Павловского района на реке Оке, преподает в школе, пишет песни и делает сценки в тамошнем клубе. Его моноспектакли – это набор гитарных соло, диких танцев и щемящих монологов. О старых собаках, вышедших из употребления магнитофонах, людях, которых уже нет, и о себе, отчаянно одиноком.

Наконец, на уазике-буханке он подкатил прямо к крыльцу. Расселись, поехали.

Трасса прошивает поселки насквозь. По обочинам на табуретках – варенья в банках, яблоки, упругие опята в пластмассовых ведрах. Впрочем, самих хозяев этого добра не видно. Редко где покажется человек. Только пугала на огородах, копошащиеся куры и темные стога, на фоне рдеющего леса. Первая остановка над рекой Пьяна, прозванной так не то из-за виляющего русла (от истока до устья по прямой она в два раза короче, чем если по воде), а может, от того, что незадолго за три года до Куликовской битвы, где-то на этом самом месте Нижегородский князь Иван Дмитриевич, потеряв терпение в ожидании неприятеля, устроил грандиозную попойку своего войска. Войско ночью было перебито отрядом ордынского цесаревича Арапши. Пьяный князь утонул, спасаясь. Арапша сжег, превратил в головешки Нижний.

Растворив заднюю дверь в машине, организуем стол прямо на резиновом коврике, на расстеленных газетах. Хлеб, складной нож,

курица, консервы, соль в спичечном коробке. Итальянцев такой перекус вовсе не шокирует. Да и были они на просторах одной девятой суши уже не раз. Правда, все больше в городах. Режиссер Алессандро снял фильм о фестивале чеховской «Чайки» в Ельце, с тех пор ходит на курсы, усердно учит русский. Дома в Римини все стены, показывает на мобильнике, увешаны маленькими бумажками с выражениями. Он поднимает бокал с дымящимся чаем и произносит:

— Жах-нем?

— Да, – говорит наш режиссер Дима, который и не собирается учить итальянский, – Но потом.

— Стих сочинил, – ухмыляется Сергей, обгладывая куриную ногу. – Переложение Пушкина на новорусский. Вот. Пошел на разборки наш вещий Олег. Олег он ваще был крутой человек. Хотел отомстить неразумным хазарам. Башлять не хотят. Не следят за базаром…

В Арзамасе останавливаемся у придорожного магазинчика пополнить запасы курева и воды. Усатый дальнобойщик любезничает с продавщицей, оперевшись на прилавок локтем. Продавщица отмеряет железным совком ему пряников. Он оставляет весь кулек ей. И шоколадку.

Сергей рулит потихоньку, уазик бежит, из-за водительского плеча растрепанной веревкой вьется дымок.

— Песни-то пишешь?- интервьюирует собеседника Дмитрий.

— Неа, – весело откликается Сергей. – Летом не до того. Сено, дрова, то се. Вот уже и солнце в поля садится. Я думаю: и не надо этого искусства. И слава тебе Господи. Так хотелось бы жить, понимаешь. А ты песни, песни. Куда мы все лезем. Все Бога хотим ухватить за яйца. А жизнь. Встал утром, чашечку себе, детям сготовил, глядишь – пора обедать. Щец из печки вынул, запах разнесся волшебный, углей, тепла, уюта. Вот она жизнь-то на самом деле и древние это понимали. Как один говорил: «Если б вы знали, какую я вырастил капусту». Поэтому мне смешны дядьки эти в подтяжках, на галстуке зацепка, расчесочка в футлярчике, а работу свою делать ни хрена не умеют. Я выше их на 5 голов. Если бы мы были мудры, то копали бы огород, сеяли бы: я, правительство, Прохоров. Тут вот зиму прошлую бился над одной пьеской для детей. Закончил. Посидел, послушал себя и понял, что это полное говно, попсуха, продажа уже однажды проданного. И так мне грустно стало и страшно – зима впустую. Думаю, что же делать? И я – король – взял это все и сжег. Ходил, маялся. Потом за весенние каникулы написал совершенно бредовое нечто. Из кусков каких-то. И здорово, весело вышло. Что-то живое сквозило там. А почему?

Потому что накопилось. Потому что себя преодолел. Я так думаю: побеждать можно личным каким-то продвижением. Достигать, добиваться. Не обращать внимания на то, что вокруг: соседи, политики, нестабильность. Лучше всего делать то, к чему ты предназначен. И тогда, если бог дает, значит, будешь, а не дает, ну что ж, мы старались.

Опять река. По полоске песчаной отмели противоположного берега идут две фигуры. Мужская и детская, рука в руке, в резиновых сапогах оба. Девочка что-то говорит и мужская фигура нагибается, потом он сажает ее себе на плечи. Так они идут пока не скрываются за поворотом, пока мы едем по мосту. Лес красиво, золотыми нитями, прошивает солнце. Дорога пуста. Нас никто не обгоняет и не движется навстречу.

В одной деревне встречаем вагончик на колесах. Шины спущены. А по борту кто-то старательной рукой вывел «РЖД. Сапсан – 2011». Чуть ниже уже другой краской «Газпром».

В Большое Болдино являемся к обеду, стоянка перед храмом заставлена двухэтажными, помпезными автобусами. Машину оставляем, немного не доехав, и с другой стороны, у колодца с двумя беседующими пожилыми тетеньками.

Одна другой повествует:

— А я нынче на волос не уснула. Только стала задремывать, телефон. Толкаю сваво в бок, говорю, иди. Так поздно только твои чеканутые собутыльники звонят. Пошел, кричит оттуда, Витька Митряв, говорить будешь? А у меня зла не хватат, знаю, что потом не засну. Пошел твой Витька Митряв, знаешь куда? – Да он по делу, – бурчит. – Не встала из вредности, и потом промучилась до свету. Утром говорит, насчет телки хотел прояснить вопрос. Сдавать будем ли? Себе думаю: коммерсант несчастный. И из-за этого, надо звонить в одиннадцать.

— Пьяный, поди, был? – поддерживает товарка.

— Какой же. Я и говорю потом: чтоб у этого Витьки Митрява хрен на пятке вырос. Как ссать, так разуваться, – довольно образно резюмирует рассказчица.

На аллее прославленных орденоносцев- болдинцев, итальянцы с увлечением разглядывают лица доярок, скотников и комбайнеров. Алессандро спрашивает, что это за медали (у некоторых на лацкане звезда героя соцтруда). Я пытаюсь объяснить на примере Гагарина, но только переношу деятельность тех людей на землю, в поля и на фермы. Не понимают.

Мимо скамеек по-хозяйски шныряют куры. Куры здесь всюду, и еще надписи- транспаранты на фронтонах всевозможных зданий из стихов понятно кого. Говорят, здесь даже глава администрации знает весь

«Болдинский цикл» стихотворений, а это ни много ни мало тридцать с лишним, да еще замечательные главы из «Евгения Онегина».

— Сколько не изучай это, – говорит Алессандро, – а все равно в голове не укладывается, как за три месяца можно написать столько и такого?

— Хм. Ты учти, – обратился напрямую к коллеге Дмитрий Привалов, режиссер и сценарист. – Это сначала, дорога измотала его, настроение было поганое, дела всякие по имуществу напрягали. А потом все поменялось. Делами занялся тут один человек, невеста прислала письмо, холера щекотала сердце, – как детям объясняет Дима. – И женитьба ненадолго откладывалась. Он прямо так и пишет издателю, мол, ты не можешь себе представить, как весело удрать от невесты, да и засесть за стихи. Жена не то, что невеста. При ней пиши, сколько хочешь. А невеста, дескать, язык и руки связывает. Не до того, в общем, с ней. Из-за холеры обитание его здесь все длится и длится. Это с одной стороны, как отложенная приятная мечта. Вот он тут и на лошадях скачет, и проповедь смешную пишет, и стихи реками. Резвится, одним словом.

В этот день решили просто осмотреться. Итальянцы и наш режиссер договорились с руководством усадьбы о съемках на завтра. Ходили, выбирали точки. Когда вышли из избы, где весьма доподлинно воссозданы сцены из сказки о рыбаке и рыбке, Сергей вновь произнес:

— Стих написал. Вот. Над морем небо мреет. И в волны, злясь от быта. Старик закинул невод. Старуху. И корыто… У меня дочь спросила, когда я ей прочел сказку: «А зачем же он столько желаний потратил зря? Сразу бы попросил себе новую старуху». Я пытался ей рассказать, что сказка совсем не про то. У Пушкина буквально и в лоб, ничего не было. Не знаю, поняла ли. Племя, молодое, незнакомое. Здесь недели три назад фестиваль закончился. «Живое слово» называется. Я по телеку смотрел, по местному каналу. Не кондовый такой фестиваль, хоть и со всякими, как я называю, кокошниками. Кроме декораций прошлого, балов всяких, приезжали культурные люди из городов и деревень, обменивались электричеством, кровью, обсуждали не праздные вопросы. Кому нужна сегодня классика? Мне нужна. Детям нужна, чтобы каждый раз не объяснять очевидные, вещи. Я со своими пацанами в футбол не пойду играть до тех пор, пока они не расскажут какие были в пушкинское время дуэли. Пацанов я могу на это подсадить. Девчонок в классе, чем-то другим зацепить. И все эти разговоры, что если Ленский приехал на мотоцикле и ботает чуть ли не на лагерном жаргоне прямо ужас, ужас, не более чем ханжеская туфта. Классика не должна быть милым сердцу хламом. Важно как ее подать,

зацепить человека. Я думаю, что у Пушкина было такое чувство юмора и самоиронии, что он бы просто удавился, увидев свои музейные экспозиции и некий догматический подход к своим произведениям. И вот на том фестивале об этом говорили. Язык и то, что сделали предшественники нельзя удержать под стеклом.

— Солнце пальцем не заслонишь, – вдруг сказал Алессандро.

Мы молча уставились на него.

— У нас в Италии есть такая поговорка, – смутился он.

Мы бродили по тропкам, устланным листьями. Кругом фотографировались пары, обряженные в костюмы той еще поры. Хохмили. Кривлялись. На площади перед усадьбой дедушка в цилиндре и фраке, катал всех желающих в карете мимо церкви, по гравийным дорожкам. С амвона этой церкви Пушкин в сентябре 1830 читал свою шутливую проповедь по случаю холеры своим крестьянам. – И холера послана вам, братцы, оттого, что вы оброка не платите, пьянствуете. А если вы будет продолжать так же, то вас будут сечь. Аминь!» Сколько времени прошло. А ничего почти не поменялось. Крестьян может взять только атомная бомба. Все та же скука на лицах, следы вчерашнего запоя и убийственная лень. Сувениры, которые сооружают здесь топорно и совершенно без фантазии.

— А зачем? – говорит мужик, торгующий магнитиками и перьями в гранитных чернильницах. – Кто купит? Эти, что ль? – кивает он на очередь, выстроившуюся к старой детской коляске, из которой бабушка торгует только что испеченными пирожками.

Вечером в бревенчатом доме, снятом нашим режиссером заранее, был купленный на ярмарке спотыкач, маринованные грузди, банка квашеной капусты и морс из морошки, которую с успехом заменяют тут отваром шиповника. Велись идиотские беседы в сослагательном наклонении, что было бы, если б Пушкин не умер?

— А жил бы здесь с женой да детьми, – предположил режиссер Дима. Грузди бы солил тут, антоновку в бочках вымачивал, да в отъезжие поля с ружьишком выбирался.

— Или в Италию отдыхать приезжал, – сказал Алессандро.

— Угу. А потом бы его как Горького тут отравили.

— Стих написал, – сказал Сергей. –Называется «Дантес промахнулся». Вот. Дуэль состоялась. Два выстрела – хлоп, и рухнул повеса. Ушел из России цинковый гроб. С телом Дантеса. А сверху записка «Не лезь норожон – замочим из пушки. И подпись: А. Пушкин».

С утра итальянцы снимали прибывающих туристов. Потом внутри. Режиссер Привалов ходил с ними. А мы сидели на лужайке, и смотрели,

как приезжие поляки перетягивают канат, как валятся потом со смехом в траву. Чуть поодаль вставали на ходули дядьки, приглашающая сторона. Потом мы с Сергеем просто глазели на публику, пытались по лицам догадаться, откуда приехали, чем занимаются. Дошли до бани. И там в уединении тоже выпили чекушку за Александра Сергеевича.

Болдино и по сей день остается уголком, в котором как в самой поэзии Пушкина есть место всему. Здесь можно уйти в дебри и читать книгу, выспаться за старой церковью, бесцельно шататься, проводить фестивали, обхватывать необхватный дуб с цепью, который ветла. Как раз у мнимого этого дуба и встретили мы наших приятелей. Они снимали Кота Ученого, а он в свою очередь оказался сотрудником местного театра и однокурсником Привалова.

И дальше тек день. Привалов ушел с Котом в ДК, выстроенный к 100-летию гибели поэта. Итальянцы куда-то пропадали, потом появлялись, довольные, с помадой на щеках. За забором шла воскресная ярмарка. Там торговали козами, и поросятами, петухами и перепелками, теплыми варежками из кролечьего пуха и сумками для челноков.

Под вечер опять шли к дому, где задержались на два дня. Привалов пел казацкую песню. Алессандро отозвал меня в сторонку и спросил шепотом:

— Что такое п….ц?

Я сказал, что это такой оборот речи. Восторженное устойчивое выражение. Не всегда, впрочем, имеющее негативный оттенок.

— Кэпито? – переспросил.

— Да, понял, – замотал он головой. – Это как б..дь, б..дь, б..дь.

Мне не хотелось разуверять его ни в чем. Ведь это тоже в какой-то степени добрые чувства, пробужденные лирой. Хоть у итальянцев евро давно.

Нас ожидал еще один закат в огороде. И осина с остатками листьев на макушке, качалась на ветру, как язычок церковной свечечки.

Рейтинг благоговения перед жизнью

В маленькой без окон аппаратной телецентра Останкино, мы сидим с Тимофеем Баженовым, пялимся в монитор, отсматриваем куски рабочего материала к программе «Рейтинг Баженова», что идет на канале «Россия -2». Раскисшие от дождей проселки, где вязнет по фары джип, мелькнувшая в кустах морда волка, линии электропередачи, уходящие несуразными железобетонными буквами «Л» в тревожную от низких облаков даль. Рыси, медведи, сурки и совы, белки и куропатки, гнезда и норы, парашюты и отвесные скалы — все это является предметом его дотошных исследований. Причем не отстраненным, не закадровым…

Баженов и группа отважных товарищей днями и ночами, по несколько суток, проводят в засадах, чтоб обнаружить, допустим, матерого волка, приблизиться к нему, посмотреть в глаза, почувствовать, ощутить. Изготавливают ловушки для сурка, встреченного когда-то, у него неправильный прикус, и это грозит ему верной гибелью, если не стачивать зубы каждый год. Вот они каждую осень и ездят – зубы сурку стачивают. Говоря в двух общих словах, снимают неподдельное, экстремальное кино о возможностях человека и возможностях дикого зверя, об их взаимоотношениях и том, что мир, если его не бояться и относиться с открытым сердцем — гораздо больше и разнообразнее, чем кажется.

На экране Баженов, ломая сухие будылины татарника, идет по опушке леса, попутно рассказывая о гадюке. О том, что почти все укусы человек получал тогда, когда, обнаружив ее, пытался убить или поймать. Он демонстрирует, как. Получает ожог ядовитым зубом в руку. «Змея оказалась очень быстрой, а я оказался очень глупым», — говорит он в камеру и продолжает. «Сейчас у меня наблюдается некоторое головокружение, слабость в ногах». Затем отсасывает яд, делает себе укол, перевязывает бинтом. Внешне ведущий напоминает военного – берцы, штаны цвета хаки со множеством карманов, армейская куртка, татуировки, походная щетина. Это, говорит он, для удобства в путешествиях а, впрочем, и некоторый отпечаток, что ли, энтэвэшного корреспондентского прошлого, когда делал репортажи из различных горячих точек.

— На НТВ я помню «Сказки Баженова», которые каждую субботу в 7 утра на полную мощь включала моя дочь.

— Перед сказками на том же канале была еще программа о животных «Дикий мир», – говорит Тимофей. – За годы ее существования мы

натащили из лесов разных подранков, которые в дикой природе уже существовать не могли. Некоторых я поселил у себя дома, кого-то взяли операторы, часть жила на нашей загородной съемочной базе. С каждым путешествием их становилось все больше и больше, вырос целый зоопарк, который нужно было кормить. Звери к тому времени полностью очеловечились, и мы часто говорили, что это уже настоящий цирк. Тогда пришла в голову идея сделать так, чтоб люди на это смотрели, а зверьки бы сами зарабатывали себе на еду. Мы сделали такие маленькие спектакли для детей, где я, как Оле Лукойе с бородой рассказывал сказки, а звери их иллюстрировали. Мне нравится борода, и вообще я считаю, что если Бог сделал так, что у мужика растет борода, а у женщины нет, значит, это зачем-то придумано. Все декорации к сказкам мы делали сами. Их стало так много, что негде было хранить. И сейчас на базах наших в Волоколамском районе и под Черноголовкой стоят сотни разных звериных домиков, маленьких транспортных средств, целые мышиные деревни, самый настоящий волшебный лес.

— А как возник «Рейтинг Баженова»?

— Мне поступило предложение от канала «Россия» делать более жесткую версию программы о животных, для взрослых. Она отличается от того, что снимали ранее. Скажем, в ней прибавлялся элемент некоторого шоу, но шоу довольно серьезного. Тут мы используем навыки, которые я приобрел, проводя свою молодость в разных зонах боевых действий. Ну, например, мы показываем, как действовать, если не раскрылся парашют. Что делать, если вы оказались на отвесной стене без страховки. Что можно съесть в лесу, чтобы не умереть с голоду. И все это в походах за каким-нибудь опасным зверем, дабы рассказать о нем. Не скрою, есть среди блюд, которые я ем, противные, в том числе и для меня. Но концепция программы подразумевает демонстрацию тех возможностей, которые предоставлены человеку, и в особенности мужчине.

— Как долго готовятся ваши экспедиции? Изучаете ли вы, обложившись справочниками, книжками, перед этим характер, повадки того зверя, которого едете снимать?

— Видите ли, какое дело, мы занимаемся съемками зверей много лет. Все мы имеем специальное образование. Мы представляем, как ведут себя те или иные зверьки, где их искать и на что можно рассчитывать. Другое дело, что из этого получится. Можно сорваться и за день получить результат, а можно готовиться полгода и приехать ни с чем. Это же не художественное кино. Анималистика потому и считается сложным и дорогим жанром, что связана с длительным ожиданием. Вот, например,

один из наших операторов, вынужден был лежать в ледяной берлоге по 30-50 часов, не шевелясь. Ни курить, ни кашлянуть нельзя было. За это видео заплачено серьезными обморожениями. Это тяжелая мужская работа, а операторы настоящие герои. Что касается «Рейтинга Баженова», то здесь все больше усложняется. Это не только ожидание, а и некоторое искусство возможности вступить в контакт, подойти к дикому зверю на минимальное расстояние. При этом мне приходится разговаривать в кадре, произносить законченные, имеющие смысл предложения. В кадре, а не за кадром, не сидя в студии, а находясь на территории, принадлежащей моим героям.

— Вероятно, по этой причине некоторые злые языки утверждают, что вы до сих пор снимаете сказки, где-то на просторах зоопарков.

— Думаю, причина не в этом. А в том, что мои румяные критики сами вряд ли решатся пройти моими дорогами. Может быть, дело в зависти... Но мне это неинтересно. Хотя особенным храбрецам могу предложить поехать к ручным волкам. Пойти потрогать их руками. Однажды на съемках сказок у нас дрессированный волк укусил рабочего сцены. Отхватил ему полкисти за полсекунды. Иногда и с ручным зверем бывает весьма трудно договориться. А найти общий язык с диким животным куда сложнее. Потому и передач таких больше нет. Многим кажется, что если они в лесу зверей не видели. Значит, звери не существуют вовсе, или живут только в зоопарках. Отвечу так: искать нужно лучше. Ведь тут вот какая штука. Кто-то идет в лес и ничего не видит, или идет убивать зверя. Мы идем дружить и общаться. За пятнадцать лет съемок ни одно животное не пострадало и, думаю, не пострадает никогда. Чего не скажешь о людях. За тридцать серий этой программы я был раз в сто больше покусан, чем за триста серий, которые делались для НТВ.

— Возите ли вы с собой на всякий случай какое-нибудь оружие?

— Нет. Наше главное оружие — доброта. Главное, чувствовать зверя, не дразнить понапрасну. Тогда тебе будет удача. У нас белый медведь нюхал объектив. И все остались довольны. И медведь, и оператор. Вообще, белые медведи – существа замечательные и непосредственные. Они никогда не замышляют ничего недоброго, они просто уверены, что весь мир для них. Я считаю, именно так себя нужно вести и человеку. И в то же время они уважают позицию других, с ними достаточно легко договориться. Я так близко подходил к ним… с бурым никогда бы не решился проделать подобный трюк. Есть грань, которую не стоит перешагивать.

— За годы работы у вас наверняка появилось много уникальных необычных кадров?

— Смею предположить, что ни у кого нет съемок рожающей рыси, у нас имеются. Вряд ли у кого-то есть съемки укуса змеи, снятого из-под кожи. Это главная проблема современной оптики и вопрос кинематографа. Съемки в непрозрачных средах. Мы с помощью некоторых технических нововведений получили изображение, как зубы змеи протыкают человеческую кожу, как по капиллярам разливается яд, и что происходит с текстурой сосудов в момент распространения яда. Снежные барсы. Или вот белый медведь. Кадры, как этот зверь заходит в домик и как мать кормит медвежонка грудью. Есть удивительные съемки, как бурый медведь ложится в берлогу и сосет лапу.

На экране Баженов в валенках, шапке и ватнике стоит над заснеженной рекой. Произносит текст: «Я человек прямой. Спрашивали, где раки зимуют? Сейчас попробую покажу». Спускается с отрога, утопая в сугробах, разгребает снег, орудует топором, делая прорубь. Затем уходит совершенно без страховки под лед, через минуту появляется. Не нашел. И еще раз. Наконец выныривает с крохотным раком, тот шевелит клешнями у Баженова на лысой голове порядочное рассечение (рана ото льда), он произносит: «Вот там они и зимуют. Судя по всему, самец». Просит рака помахать зрителям лапкой, что рак немедленно и исполняет. Отпускает, бежит к костру. Отжимает трусы, от него валит пар. Проникновенный и в то же время с неким с подтруниванием над собой текст во время того или иного действия — это, конечно, прием типичный. Но то, как вкусно Баженов это делает, сооружая, допустим, палатку или извлекая из багажника гамак, ведро, сачок — этому вряд ли можно научиться. Впрочем, с той же долей теплоты, без единого матюга, он может наговорить три с половиной минуты монолога в тот период, когда какой-нибудь зверь отгрызает ему палец.

— Тимофей, а чего в этом намеренном безрассудстве все-таки больше, шоу или желания рассказать о звере то, что до этого момента знали только те, кто из лесов не вернулся. А вы возвращаетесь каким-то чудом и рассказываете об этом общении?

— Глупо было говорить, что все это только ради рейтинга и денег, да? Это и не так. Хотя не без того, конечно. В том, что мы делаем очень много любви, которую канал нам позволяет проявлять. Любви прежде всего к России. Наверное, кому-то эти слова покажутся притянутыми за уши, излишне пафосными. Не понимаю, почему обязательно нужно об этом говорить, как бы стесняясь, иронизируя и ерничая. Дело в том, что в России я чувствую себя дома. И я чувствую себя дома в русском лесу. Я

люблю Россию. Уверен, если наступить на горло городским привычкам, если наступить на горло лишней социализированности, то родина начнет любить тебя так, как она это умеет. Не словами поэтов, образами художников, а своей земляной любовью. Это так просто, но мы все время усложняем. Ведь посмотрите, как ведет себя, например, раненый волк в отношении тех, кто в него выстрелил. Там чаще всего ведь нет истерики. Те болевые ощущения, которые испытывает он, не затмевают ему разум, достоинство и желание оберегать своих близких, тот мир, в котором оно появилось на свет. Вот так же и я стараюсь вести себя. Может, это покажется странным, но я получаю удовольствие от той еды, которую я ем там (включая кузнечиков, мышей и червяков). Потому что в тех условиях, в которых я оказываюсь, она гораздо уместнее, нежели бутерброды. Тухлое мясо, найденное в схронах хищников, приготовленное мною на костре, дает мне гораздо больше сил там, чем консервы. Возможно, мобилизуются какие-то внутренние ресурсы человека, но я лучше понимаю тех хищников после такого завтрака. Конечно, я пока не могу знать, что творится у зверей в голове, и что они используют вместо мобильных телефонов, но я ощущаю биение их сердец и люблю все больше и больше. Приближаясь к той земле, на которой мы родились, приближаясь к тому миру, который пока еще не погублен человеком и залечивает, зализывает себя сам, ты начинаешь ощущать себя частью этого огромного мира. В этот момент ты кожей чувствуешь, как он распространяет в твой адрес бесконечную доброту, не скупясь, дарит тебе то, что не вмещается в слова. И не надо водки, потому что ты и так пьян. А потом наступает такой же приятный момент возвращения к людям, которых ты любишь.

Снеговик в вагоне

Каждый Новый год – это ожидание большого чуда, каких-то невероятных встреч, и нешаблонных отношений. Некоторые едут за этим в экзотические страны и все равно погружаются в пучину запланированных эмоций. А ведь зачастую достаточно просто сесть в первый попавшийся, уходящий в ночь, поезд – и увидишь такое, что не под силу перу ни одного фантаста…

Представьте. 31 декабря. Вечер. Казанский вокзал. Огни.

Возле экспресса «Мордовия», на котором я собираюсь добраться до города Саранска, стоит мужик в овчинном полушубке, нежно придерживает что-то за пазухой и в трубку своего мобильного кричит:

— Да, брось ты, Коля. И не ори на меня! Не дуйся. У меня, может, с детства такого ощущения не было. И не будет уже никогда. Ты понимаешь? Ощущения какого-то странного, которое может дать только эта вот Новогодняя ночь и дорога. Понимаешь, Коль. В Москву я еще приеду. Да. И выпьем, и поговорим. Как раньше в общаге, помнишь? Коньяк и на закуску мандарины. Кайф! А сейчас мне надо… Ехать надо. Я ж на один день всего. Еле отпустили. В театре сейчас елки. А я там знаешь, кто? Только не смейся Коль. Сне-го-вик. Это сейчас Снеговик, а так Луку играю. «На дне» Горького. Помнишь? Вот приезжал Сереге подарок отдать. Повидать его. О! Вымахал – будь здоров! Наташке вот денег дал. Не много, но все ж. А что она? Она говорит, что им без меня лучше. Но я ее, дуру, все равно люблю

— Эй, товарищ! Снегов-и-ик, – окликает проводница. – Заходить будете? Отправляемся.

Мужик идет к двери:

— Все давай, Коль. Обнимаю. Поезд отходит.

Проводница выметает веником из тамбура ошметки его белых следов. Поезд трогается.

— А подслушивать, между прочим, нехорошо, – говорит актер.

— Больно надо, – возмущается проводница. – Вы так кричали о своей любви, что весь Казанский вокзал слышал.

Никто из пассажиров в купе заходить не спешит. Стоят, в окно смотрят. На плывущую мимо Москву. Стекла домов. Уютный свет в них.

Мужик, играющий в одном из театров Снеговика, смотрит в окно тоже. Отхлебывает прямо из бутылки глотками коньяк, нежно поправляет что-то за пазухой, молчит.

Я открываю дверь в купе.

На верхней полке сидят два мальчугана лет пяти и семи и лупят друг друга подушками.

Как только я вошел, они тотчас замерли.

— Здрасьти, – сказал старший.

— Вы что, одни здесь?

— Нет, с дедом, – настороженно взглянул младший. И отложил в сторону подушку.

— А где же он? – закинул я на свою полку рюкзак.

— Курит.

— Наш дед дымит, как паровоз, – рассмеявшись, сказал младший. – Он же профессор. И, прыснув от смеха, добавил: – Кислых щей.

Старший толкнул его в бок локтем.

Явился дед. Мы поздоровались. Профессор напоминал писателя Пришвина. Такая же азиатская бородка, круглое пенсне и лучистые морщины возле глаз.

— Дед, скажи ему, я ведь когда маленький был, не верил в деда Мороза? – спросил, слезая с верхней полки, старший.

— Верил, – дед был серьезен, как, должно быть, серьезен на лекциях.

— Я же говорил! – восклицал другой.

— Неужели забыл? – в улыбке сощурился дед. – Ты же мне сам всегда рассказывал, что слышал даже, как ночью щелкает замок, открывается дверь. Как Дед Мороз топает по квартире и кладет под елку подарки.

— Да?

— Да.

Пацан недоуменно пожал плечами. Странно, как это он мог верить в такую ерунду.

— А в поезд он тоже приходит? – спросил.

— Приходит,- дед щелкнул дужками, сложил в футляр очки.

— Тимка, – обратился к младшему брат. – Давай сегодня всю ночь не спать. Будем за дверью следить, чтоб не прошляпить.

Тимка глянул на брата с восхищением. Глаза его заблестели. И они, свесив ноги с верхней полки, стали ждать.

Мы с Сергеем Михайловичем пошли в тамбур покурить.

— Вы правда профессор? – спросил я.

— Хм, – улыбнулся он. – Сдали уже. Правда… На филфаке зарубежную литературу преподаю.

— Как же получилось, что в Новый год в поезде?

— Да я гостил у них. Ждали, что сын (отец их) с моря вернется. (Служит на подлодке в Баренцевом море). Но у них там какая-то заминка произошла. А у меня с третьего в универе экзамены. Да и бабка внуков уже три года не видела… Вот и решили, что мы Новый год будем встречать в Саранске. А мама их моряка своего дождется, и попозже вместе приедут. А тут мы до Москвы-то доехали, а билетов нет. Вот и приходится в поезде встречать.

На стыках состав громыхал. В накрахмаленных белых блузках сновали из вагона в вагон проводницы. Их лица светились радостью, как будто все они сегодня очень удачно повыходили замуж. Экспресс на скорости 120 километров в час приближался к Новому году.

Когда мы с профессором возвращались обратно, актер стоял у окна и кому-то в трубку истошно кричал:

— Кто вы? Кто? Скажите! С кем я говорю?

Отхлебнул из недопитой бутылки коньяку и скрылся за дверью.

До 2009-го года оставалось полтора часа.

Из динамиков доносится: «Новый год к нам мчится, скоро все случится»… Я иду по вагонам к ресторану. В открытые двери видно: кто-то уже храпит, запрокинув голову. Кто-то суматошно собирает всех в одно купе: «Коля, Ксюха, ну где вы? Только вас ждем».

В экспрессе Москва-Саранск ресторана нет. Нерентабельно, говорят. Поезд идет всего 12 часов. Зато есть душевный буфет. Барная стойка. Зеркала. Единственный стол этого заведения украшен девушкой. Девушка сок пьет, держится подчеркнуто холодно, надменно.

Я заказываю бутылку шампанского, прошу разрешения сесть рядом. Бокалы звякают, как будто репетируют бой кремлевских курантов.

— Я не пью, – говорит она, потягивая через соломинку апельсиновый сок.

В буфет врывается шумная компания, человек шесть. Все садятся за стойку рядом со мной. У компании гитара, балалайка и флейта.

До года нового минут 15. Разливаю шампанское.

— Я не пью, – снова повторяет незнакомка.

— Чего-о-о! – почти разом разворачивается вся группа. – Да как вы смеете… – хохочет парень в одеянии Петрушки. – …говорить такое в Новый год. А ну, господа, проводим Старый, который не таким уж и плохим парнем был. И снова звон, как будто куранты.

— Вы что, ансамбль музыкальный.

— Просто друзья. Мы так уже три года ездим, – говорит девушка Анна – та, что с флейтой.

— То есть?

— Ну, как три года назад встретились в поезде Москва-Воронеж, так каждый год в Новогоднюю ночь собираемся, кто может. Постепенно компания обрастает новыми людьми.

— Так, – говорит басист Серега, – Разлили. Загадали желание.

Бокалы сомкнулись и зазвенели так, как будто качнулась на потолке хрустальная люстра. В динамиках звучат куранты уже настоящие.

— С Новым годом!

— С Новым годом!

— С Новым годом!

Я пригласил незнакомку покурить.

Когда через пятнадцать минут мы вернулись, в буфете было уже многолюдно. Казалось, вагон раскачивается не от стремительной езды, а от танцев и песен веселой компании. В Новый год легко сходится с кем-то. Потому что впереди много хорошего. И потому что все люди вот уже много веков, встречая этот праздник, хотят в сущности одного и того же. Чтобы их кто-то где-то ждал и хотя бы немножечко любил.

Поезд несся в метель. Никто уже не замечал ни времени, ни остановок. Компания поднимала бокалы с шампанским. За счастье (3 раза). За любовь (5 раз). И за милых дам (бесконечно).

Девушка Света уснула, положив голову на руки.

Я довел ее до купе. Принес чаю. Новый год шествовал по стране уже пять часов.

Каждый в эту ночь оказался в поезде по разным причинам. Светка долго думала: остаться ей в Москве, в своей маленькой квартирке на Тимирязевской. Или уехать в Саранск. У менеджеров среднего звена, каким и являлась она в одной из московских типографий, тоже бывают метания. Дело в том, что недавно от Светки ушел друг. Самый лучший. Просто взял и не проснулся. Рыжий спаниель был единственной страстью 26-летнего менеджера. «Он не мужик, не предаст», – доказывала мне она. И добавляла: « С человеком должен быть кто-то, от кого тепло идет. Иначе смысл бытия пропадает». Вот у Светки он и пропал. Перед самым Новым годом. Находиться в своей квартире долго она не могла. Потому и ехала в Мордовию, к маме.

Когда я вернулся в свое купе, все спали. Только проводница ходила с каким-то блюдцем по проходу и удивлялась:

— Представляешь, пошла на станции дверь открывать, слышу: скулит кто-то. Гляжу: шлепает по коридору вперевалочку вот это вот чудо.

И исчезла в своем купе. Я подошел ближе. На полу стояло блюдце с молоком, а из него, кряхтя и дрожа, с наслаждением шумно лакал это молоко пузатый щенок.

— Черти, пронесли же как-то. Не знаешь чей?

Я пожал плечами. И спросил:

— Можно я у вас тут посижу?

— Да пожалуйста. Чаю хотите?

Мы пили чай. Щенок уписывал молоко. Под ногами мягко постукивали колеса.

За чаем проводница Татьяна Николаевна Пряхина рассказала, что Новый год на колесах встречает впервые. Да и работает она на дороге всего с прошлого мая. Сама, говорит, напросилась.

— А дома как же? Ждут?

— Да кто ждет? Надоело все. Одно и то же. Муж, оливье, дурацкие тосты. А здесь весело.

— Да уж, говорю, обхохочешься.

Щенок уже сопел под одеялом на месте проводницы. Иногда он скулил и в воздухе, лежа на боку, перебирал лапами. Как будто бежал куда-то.

В полуоткрытую дверь тихо постучали. Возле поющего вагонного чайника стоял вчерашний актер Олег Кудашкин.

— Вы не видели здесь ма-а-ленькую такую собачку? – хриплым со сна голосом спросил он.

— Ах, это ты Снеговик, незаконно животное в вагон пронес? – уперла в бок она руки.

И я вспомнил, как нежно держал он вчера что-то за пазухой овчинного полушубка. Так несут цветы зимой любимой женщине.

— Так это твой? – не унималась проводница.

— Не, не мой, – испугался актер.

Как будто двумя утюгами, пытался разгладить смятое коньяком и подушкой лицо. Сел рядышком и рассказал.

30-го декабря Олег был в городе Сергиевом Посаде. Отвозил сыну, который живет теперь с женой в этой местности, новогодний подарок. Настольный хоккей. Ехал по городу на такси. И вдруг в одном из переулков увидел, как какие-то мужики в фуфайках ловят сеткой собак. Грузят их, охрипших от бессилия и досады, в фургон «Москвичонка». Олег попросил таксиста остановить.

— Ну, – рассказывал он смущенно, – и заставил их выпустить всех собак на волю.

— И, – сказала проводница, ожидая развязки.

— Они не хотели, – продолжил Олег. Он посмотрел на сбитые костяшки кулаков. – Потом я открыл эту будку. Все убежали, а один, самый маленький, самостоятельно спрыгнуть не смог. Я его и взял. Хотел сыну подарить. Жена не разрешила.

Проводница откинула одеяло. Там безмятежным сном Нового, 2009-го года, спал с черными пятнами на розовом пузе щенок.

— Теперь, правда, не знаю, куда деть его, – ничуть не удивившись, сказал Олег. – Я же один живу. День и ночь в театре. Снеговик я. И Лука в пьесе Горького «На дне».

— Да, слышали уже, – отмахнулась проводница.

Я не верил этому. Обычно такое бывает в слезоточивых мелодрамах и дешевом кино. А тут- жизнь. Усердно и цинично, с настырностью гламурных телеведущих, приучающая тебя к тому, что бесплатных чудес не бывает. Даже в Новогоднюю ночь только мандарины и туман после выпитого лишь на миг возвращают в то чудесное время, когда ты не знал об этом. И я встал, как вкопанный. Я был ошарашен совпадением. Что-то теплое царапнуло сердце. Как будто там слепой кутенок скулил, тряс слепой головой, искал титьку.

Я взял щенка на руки. Завернул его в одеяло и сказал:

— Пошли.

Олег послушно шагал за мной. Проводница ласково глядела нам вслед. Так смотрят обычно на обреченных шизофреников.

Уже светало. Неслись за окном поля заснеженные. На улицах деревень не было ни души. И только в одной из них среди безмолвия и пустоты, какая-то парочка печатала черные следы на нетронутой белизне тротуара. Мы шли вагонными коридорами. Отрывали двери, где усиливался стук колес и запах снега. Переходили в другой, спрашивали номер, и снова ступали по мягким, с азиатским шифром жизни в узорах, дорожкам.

Возле Светкиной двери остановились. Постучали. Она открыла.

— Вот, – протянув ей белый комочек, сказал Олег. – Это вам.

От неожиданности, она не могла вымолвить ни слова. Взяла щенка. Он благодарно лизнул ее в щеку. Я видел, как медленно, словно следы в снегу вешней водой, наполнились влагой ее глаза.

— Спасибо, ребят, – все еще не понимая: сон – не сон, произнесла Света.

— Да че там, – буркнул Олег. И спросил: – У вас дети есть?

— Нет, – удивилась она.

— Но все равно приходите на елку. В Мордовский драматический. Меня найдете. Я проведу. Спросите. Снеговик я.

Когда поезд прибыл на станцию, наискось пуржила метель.

Довольные мои попутчики по купе Тимка и Мишка, по очереди выскакивали из вагона. Увидев меня, Тимка почти крикнул.

— Он приходил. Дед мороз приходил к нам!

— Вы видели его? – спросил я.

— Уснули, – обреченно махнул Мишка рукой. – Но подарки принес, – похлопал он себя по карманам.

Я спрыгнул с подножки. Рядом, с рюкзаком наперевес стоял Олег и снова кричал кому-то в трубку:

— Кто вы? Кто? Скажите? Почему вы звоните сюда? Дед Мороз? Какой еще, на хер, дед Мороз? Что вы несете?

У края одной звезды

Доктор наук, астрофизик Николай Тихонов производит впечатление двужильного человека. Он как будто не спит никогда. По ночам на пятом этаже лабораторного корпуса специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук, затерянной в буковых рощах Зеленчукского района, тлеет желтый огонек, это Тихонов с помощью Большого азимутального телескопа, что на вершине горы Семиродная, наблюдает за жизнью ближних галактик.

Галактики ведут себя смирно. Ну раз, может, два в год, они сдуру закружатся в космическом танце, переплетутся эфемерными станами и зачастят вспышки, словно репортеры Господа Бога заглянули на осенний бал Вселенной. Осведомленные люди знают, что никакие это не фотовспышки, это взрываются вызревшие звезды, вернее, взорвались-то они давно, до нас этот свет дошел только-только.

Во времена холодной войны, спутники-шпионы с той и другой стороны были оснащены счетчиками Гейгера. Они фиксировали эти просветления и колебания радиации, как испытания потенциального противника. Точили друг на друга ядерный зуб. Хорошо, что астрономы все вовремя разъяснили.

Когда в 60-е годы советские ученые задумали на одной из вершин Большого Кавказского хребта (2100 метров над уровнем моря), строить самый внушительный во всей Евразии телескоп, их зарубежные коллеги ехидно ерничали. У русских есть Царь-пушка, которая не стреляет, Царь-колокол, который ни по кому не звонит, теперь будет Царь-телескоп, исполняющий сходные функции.

Но кто не знает, как мы умеем браться за дело?! Особенно если с точки зрения логики оно явно выглядит бредом. И началось. Конструкции телескопа были изготовлены на Ленинградском оптико-механическом объединении. Главное зеркало делалось на Лыткаринском заводе оптического стекла. И никакого Цейса. Решено было сделать три заготовки-болванки, каждая из которых весила 70 тонн. При диаметре в 6 с лишним метров. Первую охлаждали девять месяцев, однако при такой «скорости» изменения температур, заготовка лопнула, как яичная скорлупа. Вторую охлаждали гораздо медленней — 0,03 градуса в час. Для ее полного охлаждения ушло 2 года и 19 дней. А для того чтоб еще потом и обработать микронным

слоем алюминия, потребовалось еще 16,5 месяца и 15 000 карат алмазного инструмента.

До Волгограда зеркало везли по великой русской реке, затем погрузили на специальный трейлер. Некоторые дороги в Карачаево-Черкесии пришлось специально расширять для этого. Затем, чтобы установить технические условия перевозки (скорость на ровных участках, на подъемах и т. д.), по пути всего следования провезли специальный груз-имитатор. Каждый километр горного серпантина от поселка Нижний Архыз (Буково) (где уже выстроили к тому времени по проектам грузинских архитекторов шестиэтажные чудо-дома) обошелся казне в миллион советских рублей.

После водружения зеркала на телескоп выяснилось вдруг, что оно все же где-то получило дефект. Пришлось вытаскивать из закромов третью заготовку. В 1975 году 850-тонный телескоп впервые открыл забрало и, как в дверной глазок, всмотрелся в небо. Ученые, работающие на нем, действительно совершили сотни открытий, тогда это был, без дураков, прорыв в астрономии. Прошло 36 лет.

В 90-е годы многие светлые головы подались в Канаду, Америку, Африку. Некоторые потом вернулись, не в силах преодолеть, как формулируют они сами, гравитацию здешних мест.

Но даже в самые дикие времена финансирование обсерватории не затухало. Зеркало раз в 3–5 лет удавалось промыть. Сегодня директору САО РАН Юрию Балеге на всевозможные отчисления и гранты удается лишь содержать в удивительном, почти коммунистическом порядке поселок. На большие проекты денег не остается. А телескоп слепнет, он уже потерял почти пятьдесят процентов зрения. Директор писал президенту, потом олигархам, просил денег и обещал назвать их именем звезду. Ответа не получил. Но и нюни не развесил.

— Три с половиной миллиарда лет еще есть у человека, чтоб научиться любить и уважать друг друга, — шутит он, как хирург.

— Почему три с половиной?

— Потом Солнце поглотит Землю, и мы станем очередной сверхновой звездой. Если, конечно, до этого сами себя не укокошим.

Поутру Тихонов гасит свет и надоевшего комара. Он пришибает его папкой с графиками и расчетами. Приплюснутый комар похож на звезду. Потом он неспешно идет домой, там умывается минеральной водой Архыз в ванной из крана (просто другая тут не течет), жарит яичницу и кидает в рюкзак навигатор. У порога прихватывает ледоруб или лыжную палку (в зависимости от сезона). Вот уже несколько

десятков лет астроном и альпинист Тихонов ежедневно отправляется в горы на поиски следов древних аланов и скифов, обитавших когда-то в окрестных ущельях.

Если идти от поселка по правому берегу горной реки Зеленчук, то где-то через километр непременно упрешься в старый щитовой домик с неработающим шлагбаумом. Надпись на столбике сообщит, что это памятник-городище аланской культуры. Рядом с домиком мотоцикл ИЖ-5 с коляской, сооруженной из досок, и телега без лошади. К горбылю привязан за ногу живой орел. Орел пучит глаза на прохожих.

— Гоша, оп, — кричит хозяин, сидящий на крыльце в шерстяных носках.

Гоша с ненавистью расправляет крылья, становясь, по утверждению хозяина, похожим на рубль. Туристы фотографируются на фоне и в жестяную баночку с надписью «Птичке на мясо» кидают монетки. Судя по одутловатому лицу хозяина, птичке оплачивают лишь половину ставки.

Следы аланского городища еще можно прочесть в жужжащих шмелями травах по остаткам каменных фундаментов, по двум трехметровым идолам с человеческими лицами, по лабиринту, напоминающему не то причудливые амбары, не то британский Стоунхендж. По мнению Тихонова, это и вправду солнечный календарь. Древняя обсерватория. Но как эта каменная штуковина действовала, ни он, ни другие ученые мужи толком не ведают.

Единственные строения, что уцелели от гордых аланов, – это храмы. Их три. Историю этих мест по их стенам можно изучать на уровне почти хрестоматийном. В самом большом, кафедральном, в 916 году константинопольский патриарх Николай Мистик обращал в массовое крещение люд Западной Алании. Пришедший сюда через триста лет Тамерлан превратил город в руины, но храмы не тронул. В опустевших церквях горцы держали овец. Православные монахи, шедшие за русскими завоевателями Кавказа, выгнали горцев, овец, а спустя время уже другая власть переоборудовала все под колхозные склады. Все, как и везде, разве что тюрьмы не было. В новые времена церкви усердно отреставрировали, стены X века укрыли новомодной дурацкой металлочерепицей.

Первые исследователи города еще до реставрации обнаружили в одном из храмов остатки фрески с греческой надписью: Святой Николай покровитель Аспе. Тихонов логически предположил, что, возможно, так и назывался город. Ревностные историки фундаменталиста отшили,

подняли на смех, поведав, что город с таким названием давно уже есть, он находится на просторах Испании.

Астроном не обиделся. Напротив, улыбнулся. Во-первых, это ничего не меняет. А во-вторых, на его век открытий и всевозможных находок хватит. И в соседних галактиках, и в этой.

— Мир каждый божий день подсовывает нам столько возможностей, – говорит Тихонов, – достаточно просто повнимательнее смотреть под ноги.

Вот он и берет лыжную палку, кидает в рюкзак термос с травяным чаем, навигатор – дожди и вешние воды, вымывающие из горных пород артефакты, ему в помощь. Минувшей зимой ему прямо-таки повезло. Астроном обнаружил в горах то, что поразило его в самое сердце. Не одну сотню лет под носом у людей – пастухов, путешественников, бродяг – маячили наскальные рисунки. И это в 60 км от поселка и в 10 от города Усть-Джигута. Но никто, говорит Тихонов, не чухнулся.

— Да я и сам, признаться, про это случайно узнал. Бродил по тем окрестностям, присел чайку попить. По дороге пацаны едут на лошадях, спорят. Что-то вроде: да не, у оленя прямо из башки дерево растет. А этот с копьем, я в книжке таких видел. Ну, я прислушался, спросил, что за рисунки и где. Всю ночь про них думал, а чуть свет с лаборантом Галиной Геннадьевной Коротковой посетили те места и встали как вкопанные. Потом три дня ездили, ждали солнца, Галя забиралась мне на плечи и снимала.

Мы тоже хотим поглядеть на находку, упрашиваем. На следующий день он с Галиной Коротковой поджидает нас у корпуса на своем авто «УАЗ-Патриот». когда едем несколько раз в прорехах между гор открывается взору гигантское белое облако. Это мы думаем, что облако. Оказывается, просто гора. Эльбрус.

Бросив машину перед размытым ручьями проселком, мы шагаем Тихонову в спину. Ботинки наши тут же набирают в подошвы красной глины и напоминают индейские снегоступы. Пейзаж делается похожим на мексиканские прерии. Провожатый наш чешет со сноровкой руководителя охоты из какого-нибудь племени ичола. От рубах поднимается дымок. Галина тоже не лыком шита. Имеет приличную пешую подготовку. Помимо основной работы, так же шастает по горам, занимается танцем живота и кикбоксингом.

По кромке отвесного скального обрыва тянутся усохшие когда-то сучковатые чалы. Внизу далеко шумит река. Потом река берет влево, и перед нами открывается долина, вся в разнотравье.

— Дальше надо наверх, — командует Тихонов. — А то впереди собаки.

— Рисунки охраняют?

— Да не. Ферму.

К кудрявым горам вплотную подступают скалы, мы карабкаемся по зеленке, дышим. За одним из поворотов внизу открывается длинное кирпичное здание фермы, трактор и лохматые сторожевые псы, размером с телка, разгуливающие вольно. Сначала, увидев, они кидаются к нам, но, преодолев гору до половины, заленяваются, двигают с ворчанием вниз.

— Вот, — говорит Тихонов. — Правда, надо маленько подождать, когда солнце перейдет. Южный склон, тень от скалы мешает, не разглядеть. Мы всматриваемся – и правда, скала как скала, стесанная, ровная.

— Долго ждать? – спрашивает фотограф.

— Считайте. Скорость солнца сейчас пять сантиметров в минуту.

Присаживаемся на холодненький валун. Шмыгает в расщелину гадюка, Тихонов степенно провожает ее взглядом.

— Ручей, что свернул влево, — говорит он, — выносил и выносит к своему пологому устью желваки халцедона, которые дают острые отщепы, не менее прочные, чем кремень. Да и кремень тут, судя по всему, добывали.

— А почему никто не исследовал эти места? – интересуюсь я.

— Почему не исследовали, — астрофизик тыльной стороной ладони отирает крупные капли со лба. — Эта балка под кодовым названием Учкурка известна археологам и геологам давно. Например, экспедиция Биджиева определила, что некоторые курганы относятся ко времени майкопской культуры, а другие примерно ко II тысячелетию до нашей эры. По-видимому, именно обилие халцедона, из которого делали каменные орудия, и привлекало людей бронзового века в эти места. Биджиев же выяснил, что тут бывали и представители сарматов, в общем, напластовано всего в этих землях так напластовано. А почему никто не описал петроглифы, я и сам, честно говоря, не знаю. Место больно для прогулок тут неудобное.

Тень от скалы постепенно уходит, солнце поворачивается к нам лицом, и на скале медленно, как через метель, проступают олени. Потом еще и еще. Петроглифы располагаются на высоте около трех метров. Чтобы разглядеть их, приходится вставать на цыпочки. Многие изображения мутные, точно припорошенные песком. Тихонов объясняет, это из-за «пустынного загара».

— Как это?

— Ну, под этим термином понимается потемнение от времени и солнца свежих сколов скал, в том числе и прочерченных линий. Здесь вот кроме древних изображений на некоторых петроглифах присутствуют и современные художества. Особенно обидно, когда «улучшают рисунок» по уже существующим линиям. Это все равно, что черные копатели, шли с металлоискателем, зазвенело, и они, плюнув на предшествующие слои, а стало быть, и культуры, просто извлекают цацку. Зато вон там видите, надпись? Женя плюс Оля – навек. 1936 год. Линии ни капельки не потемнели, – радуется ученый. – Это значит, что за 75 лет прочерченные линии загаром не покрываются. А уже это, в свою очередь, значит, что едва проступающие рисунки, они очень и очень древние.

Сквозным сюжетом во всех петроглифах на этой скале являются олени. Чаще всего одиночные самцы. Иногда встречаются и ланки, но с их рисованием обычно не заморачивались. Видно, просто не стреляли, берегли для потомства. Оленьи рога древние художники изображали в трех стилях. В первом случае (Тихонов называет его фантастическим) рога показаны в виде одного ствола с несколькими боковыми отростками.

— Можно подумать, — говорит он, — что автор никогда не видел оленей. Но совершенно такие же рога изображены на петроглифах Дагестана и на золотой рукояти топорика из Келермесского кургана № 1. Во втором стиле рога изображаются двумя вертикальными стволами с боковыми отростками. Подобные изображения можно встретить на бронзовых изделиях кобанской культуры. Олени с рогами первых двух стилей часто изображались рядом и могли быть нарисованы примерно в одно время, ну с разбросом в столетие. В третьем – рога откинуты назад и доходят до хвоста животного. Этот почерк напоминает скифский.

Сцены из охоты на яка – сюжет самый, пожалуй, композиционно выверенный. Семь собак окружили быка. Охотник протягивает руки, может, лассо набрасывает, может, «ату» орет. Стреляющий лучник. Двое, возможно, он и она, взявшиеся за руки. Из-за скола скалы одна фигура фрагментарна. Сады с яблонями, солярные знаки, квадратики с точками. То ли в дурака резались, а потом отмечали, то ли в буру. Мы шествуем по выступу скалы, как по галерее, справа налево.

— Можно вычленить некую закономерность, – говорит Тихонов. – Если видны современные рисунки, то на этом же участке есть и древние петроглифы. Давно замечено странное стремление людей,

даже в древности, выбирать для рисунков одну и ту же скалу, игнорируя стоящие рядом, совершенно пустые. Объясняется это простым бессознательным инстинктом обозначить именно свое присутствие, пометить территорию своими знаками. Аналогично поступают многие животные.

— И что же дальше? Как определить возраст нетронутых петроглифов?

— А вот это самая трудная и не поддающаяся проверке процедура. Нам неизвестны толком даже поселения, где жили эти художники. Поэтому мы можем только сличать их с похожими из других регионов. Или упражняться в догадках. Вот смотрите, с одной стороны балка заходит в тупик. Возможно, здесь во времена бронзового века и позднее просто охотились. Загоняли диких животных в этот тупик и добивали. А может, и нет. Только раскопки слой за слоем могут более или менее точно прояснить ситуацию.

— И?

— Ну, во-первых, мы не археологи, и у нас нет «отрытого листа», дозволяющего эти раскопки проводить.

— А во-вторых, – вступает в разговор Галина Геннадьевна, – карачаевцы, мягко говоря, не очень хотят прояснять ситуацию. Кто, как и что.

— Почему?

— Ну, они безоговорочно и безапелляционно назначили себя потомками древних аланов. Мол, вон с каких времен тут живем. А вдруг выяснится, что это не так.

— Тогда зачем вам-то все это надо?

— Наша задача забросить удочку, рассказать (нынешней осенью Тихонов собирается с докладом об этих петроглифах на конференцию. – Прим. авт.). Вот смотришь телевизор, – продолжает он, – и возникает твердое убеждение, что люди сегодня живут так, будто лично с них все и началось. Ты можешь, конечно, купить себе четыре айфона, гнуть пальцы и сколько угодно себя называть звездой намбер уан. Но земля и небо выталкивают из себя осколки, которые напоминают нам о той многолетней войне, когда человек методом проб и ошибок вычленял из какофонии ноты, а из бардака – что такое хорошо и что такое плохо. Без знания этого «вчера» ты не сможешь моделировать свое «завтра». Или будешь снова наступать на тот же сельхозинструмент.

Вернувшись в поселок, мы идем в местный музей в здании бывшего детского сада. Сюда Тихонов, Короткова и многие другие просто приносят обнаруженные артефакты. И тут второй раз за день у нас сносит

башку от увиденного. Такого обилия аланских вещей нет нигде в мире. Совершенно целый, даже с тетивой лук, утварь, предметы быта. Золото, серебро, медь, камни, шелк.

— Да, музей хороший, – говорит смотрительница Татьяна. – Мы выходили на Москву, хотим, чтоб кто-то взял нас под крыло.

— Не, – сказали мы тихо и хором. – Лучше не надо, да, – почему-то прорезался в нашей манере общения кавказский тон.

Живую, дышащую экспозицию музея начал лет двадцать назад собирать еще местный путешественник, альпинист и краевед, помешанный на здешних горах, Сергей Варченко. Пять лет назад его не стало. На похороны приехали соратники из других городов и даже из-за морей. Они ходили по музею, цокали языками, а потом вдруг из подвальной мастерской Варченко, где мыши летучие вниз головой, пропала мумия крохотного ребенка, некоторая утварь из самого музея. Но сотрудники и сами астрономы об этом никогда не расскажут. Они лучше еще найдут.

К вечеру на поселок и городище обрушился шумный ливень. И так же стремительно прошел. Горы курились влажным туманом. У домика сторожа, отряхнувшись, задремал Гоша. В кабинете Тихонова загорелось желтым окно. Над кустами стриженой акации тяжело поднялся одинокий жук-светлячок. Он летал по округе, мигая, как спутник, и кого-то будто искал и искал.

Фото-граф

Ноябрьским тихим вечером обнаружил я в своем ржавом почтовом ящике письмо. И удивился.

Последний человек, который отправлял мне послания, эмигрировал недавно в Прагу. Остальные знакомые звонят иногда с различных городов, но писем не пишут. Лень.

Отогрев дыханием ладони, я отомкнул на ящике замок и прочел обратный адрес. «Германия. Мюнхен. Томас Авенариус». И тут вспомнилась мне зимняя охота на волков. Было это года три назад. Авенариус приезжал охотиться, чтобы написать об этом в своей книжке.

Не отходя от ящика, я прочел несколько строк на ломаном русском. Писал, что вышла его книга. Закончил он ее сильно, пафосно «...в России, где интеллигенция в последние годы спивается. И волчий вой сливается с людским». В конце послания Авенариус интересовался, как там Юрка.

Юрка Кунаев – фотограф одной из саранских газет. Как раз в то время, когда я получил письмо щепетильного немца, одно из московских изданий опубликовало заметку о нем. Мол, лауреат международных конкурсов, то да се. Что вы думаете о жанре фоторепортажа? Почему он затухает? Юрка, будучи не только кутилой, но и актером, давил на жалость. «Раньше было лучше, – отвечал он. – Раньше я знал, кому жопу лизать. Теперь нет». В постскриптуме автор восклицает, что гибнут не только жанры, гибнет вся русская интеллигенция.

Но этот Юркин прием я знал. Наверное, с денежного московского коллеги он стребовал не меньше «Смирновской». Так же, как когда-то с Авенариуса. Тому он говорил, что платят х..во. Немец зачем-то записывал в блокнот вариацию крепкого русского слова и покупал Кунаеву бутылку водки.

Наутро Юрка веером рассыпал перед писателем несколько фотоснимков. Немец моргал едва заметными ресницами и говорил, что Кунаев – поэт.

Юрка и в самом деле был поэт фотографии. И как истинно русский поэт – кутила и бражник. Было ему чуть за сорок. Но никто не смел назвать его по отчеству. Потому что вряд ли кто-то был так легок на подъем. Вряд ли мог кто-то несколько ночей кряду спать в ометах соломы. Есть черный хлеб с консервами. И вечно хохмить. «Ой, б..дь, вчера, ко мне гости приходили. Так я их так угостил, что они меня еле до остановки довели»…

Меня всегда удивляло его отношение к жизни. Жил он легко, как птица. Хотя лиха хватил с избытком. Была где-то усвистевшая с каким-то музыкантом жена. Была дочка, с ямочками на щеках. Но об этом он никогда не рассказывал. Захаживающий в редакцию играть в теннис профессор выпытывал у него: «Как долго ты делал этот снимок?»

— Одну сто двадцать пятую секунды, – отвечал Юрка. Ему и в самом деле нужно было чуть больше, чтобы уловить жизнь во всем ее абсурде и поэзии. Снимал он так, что любой, кто брал в руки его фотку, тут же улыбался или задумывался.

Как-то Юрка принес редактору отпечаток к очередной годовщине со дня рождения Ленина. Под углом был снят кинотеатр «Октябрь» с барельефом вождя и афиша, на которой значилось «По прозвищу Зверь».

Бывало, ни слова ему не говоря, мы отсылали его карточки на конкурс. Приходили посылки с кубками и денежные переводы. Деньги Юрка тут же пропивал с коллегами на крыше Дома Печати. Оттуда весь Саранск был, как на ладони. Будто капли росы мерцали тысячи огоньков. Троллейбусы, как засыпающие на ходу кони, тащились по мосту. Потом снова была водка. Пропитый кубок. Лифт на седьмой этаж. Рыжий кот Кузьмич. Будильник. Курево. Редакция.

Жизнь, как трамвай, двигалась по кругу. А значит, вечером снова водка, Дом печати...

Часто на старой «Ниве» ездили в командировки. Командировочных ему не давали. Обычно их совали журналистам, которые с ним ехали. Но Юрка исхитрялся и все равно хоть червонец да выуживал.

Раза три ездили вместе. Утром Кунаев был грустный и вежливый. Едва отъехали от редакции, он стал шарить по карманам, вывернул наизнанку кофр с аппаратурой.

— Ты чего? – спросил я.

— Черт, сказал он. – Фильтр красный забыл.

— Может, вернемся?

— Да нет. По дороге купим.

— Где теперь купишь?

От города отъехали уже километров тридцать.

— А в любую деревню заедем и купим.

— Откуда там фильтры, Юра?!

— Есть, – степенно сказал он. – Давай стольник.

— И че, хватит?

— Угу.

Обдав пылью надменно жующую козу, остановились возле сельмага. Через мгновение Кунаев вернулся с двумя бутылками красного.

— Ты же говорил, фильтры.

— А это че? Хер собачий? – сказал он, выпив бутылку залпом. Я еще не сказал об одной его особенности. Кунаев умел пить, не глотая. Вино лилось, будто в бочку.

Пока ехали, он пустился в воспоминания.

— Щас в командировках скука. Вот раньше. Раз, помню, ездили в одну деревню. Надо было комбайнера снять. Ударника, в общем. Звоню председателю. Собираем свои манатки и туда на «уазике». Приезжаем, а там уже – то, се. Накрыт длинный, как дорога при белой горячке, стол. Горлышки «белой», как лебедя, возвышаются над закуской. Председатель с такой, под цвет кумача, рожей и говорит: «Сперва давайте немножечко тяпнем. Потом поедем в поля». «Немножечко тяпнув», уже никто никуда не поехал.

Утром проснулись. Башка трещит. Во рту – кошки насрали. А председателю хоть бы хны. Ржет себе, гнида диванная. И никакого похмелья, понимаешь. Только рожа стала еще багровее. Лихо поддев вытащив с горла «бескозырку», он сказал: «Сперва давайте немножечко тяпнем. Потом поедем в поля».

Тяпнув еще немного, служители пера кинули в «уазик» все свои причиндалы и уехали. Через несколько километров, самый трезвый из них (наверное, водитель), икнув, спросил: «Мужики, а че приезжали-то?» Газетчики глянули друг на друга. Через мгновение «уазик» мчался назад.

Увидев издалека знакомое авто, крепкий на выпивку председатель схватился за голову. Больше пить он не мог. Оставив за себя парторга, он скрылся в Ленинской комнате. Там его никто никогда не искал.

Уазик свистнул тормозами. Из него вывалились Кунаев и корреспондент. «Так мы это... че ехали-то?» – вымолвил Кунаев. – Фотку надо ... комбайнера».

— Где же я вам теперь его найду, уважаемые? Он в поле.

Был август. Ехать куда-то никому не хотелось.

— Раз нет этого, давай какого-нибудь другова, – резонно заметил фотограф.

Парторг сел в «уазик», и они поехали к мастерским. Затем он буквально за рукав вывел чумазого комбайнера. Тот часто моргал и говорил:

— Уже третий день на ремонте. Какой нахуй из меня ударник?

— Ну ладно – ехидно успокаивал его чиновник. – Начальство, бля, лучше знает, кто ударник, а кто так. Ядрена мать.

И он басовито, вздрогнули даже кони, заржал. Комбайнера усадили возле раскареженных железок. Сфотографировали. И уехали. Парторг с неуловимым лицом,(как ни силишься, запомнить не можешь) увязался с ними. Старушки выглядывали в окно. Увидев лыбящегося чиновника, торопливо крестились, и задергивали занавеску. Он невыносимо ржал и орал частушки:

Не гляди, бабка, в окошко
А то х..м закачу.
За разбитое окошко
Ни х.я не заплачу.

А потом мы ездили с фотографом в Пермскую область. Кунаев снимал режиссеров-документалистов. Ржавые баркасы на Каме. Угрюмого пса возле пристани.

Был вокзал и был портвейн. Мерцающие нитки железных дорог тянулись куда-то. Кого-то связывая, кого-то разлучая.

Синенькие огоньки возле путей моргали и почти никогда не превращались в красные. Поезда на той станции ходят каждые четыре минуты. Вздрогнул огонек – и замелькали вагоны, будто кадры кинопленки, про Уральские горы, про Сибирь. Где много нежного в людях и ледяные рассветы на Енисее сменяются неоглядной тайгой. Вздрогнул еще раз – и сквозь марево осени поплыли тусклые окна в другую сторону. Где нет ни Урала, ни Енисея. И тайги – тоже нет. А есть девочка с ямочками на щеках. И грустная женщина с лажевым музыкантом.

Там, далеко, осталось что-то до слез наивное, но настоящее. Остались закаты на балконе, и разговоры о дочке. Жареная ночная картошка при свечах и коротенький халатик без пуговиц.

Потом Кунаев снова чудил. Однажды чуть не дал в морду мэру города, когда тот, выпив с ним, стал гнуть пальцы и хвалиться связями с местной братвой. Юрка схватил его за грудки и заорал:

— Ды ты, сука, бандит.

Его упрятали за решетку, но потом выпустили.

И вот, в который раз перечитывая письмо Авенариуса («…в России интеллигенция спивается и волчий вой сливается с людским»), сперва хотел написать ему несколько строчек в Мюнхен. И позвонить Кунаеву. Но раздумал. Кунаеву – потому что скажет: «Напиши, что у меня все х..во». И наверняка будет клянчить посылку с ромом. Авенариусу не стану писать тоже: все равно ведь ничего не поймет. Да и лень.

Чайка 243

— Такая тоска, – говорила она ночью в телефонную трубку. – Как будто осенние дожди всей Земли залили мое сердце.

И он мчался к ней. Такси, вино, сигареты.

— Никак не пойму, что со мной, – будто крыльями в пуху оренбургской шали, обвивала она его шею.

— Чего-то хочется, но сама не знаю чего.

Когда три дня назад она произнесла эту фразу режиссеру театра, в котором была актрисой, тут же ощутила под юбкой его ладонь. Он толкнул ее в декорации «Чайки»…

Через время, глядя в зеркальце и пудря ободранный от неистовства подбородок, сказала:

— Я даже вскрикивала как она…

— Как кто? – не понял режиссер.

— Как чайка. Я – чайка.

Ей нравились витиеватые фразы, инсталляции Андрея Бартенева и стихи Уильяма Блейка. Она любила снег в фонарях и мерзлую вишню. Один поэт как-то написал о ней:

Ее улыбка из жести,
Ее мечты, как трава.
Элементарные жесты,
Больные оспой слова.
Любовь к неточным наукам,
Под шифоньером вино.
Гостеприимные руки,
Глаза с двойным глазным дном.
Она влюблена во вращенье Земли.

Ну а он был уездным журналистом и писал о театре. Впрочем, особо писать было не о чем. Спектакли были скучными, актрисы распутными и бездарными. То ли дело его коллега Витька Бубнов. Витька был человеком безграмотным, но имел умеренное нахальство и, что называется, хватку. Он встречался с известными режиссерами, актерами, поэтами. Только что вернулся с Московского кинофестиваля.

— Ну и как? – интересовались корректорши.

— Интервью с Николсоном сделал. Спускаюсь по ступенькам в Доме кино, он – по другой лестнице – поднимается. Я: «Хелло, Джек». Он вскинул руку, расплылся в улыбке. Тут охрана – хыщ-щь – его в одну сторону, меня в другую. Но ниче, – закончил Витька, – полосу написал.

И обращаясь к Фролову:

— Старик, в слове «вперед» – «ф» вместе пишется или раздельно?

Впрочем, в театре играла она. Слезно, лажево, надрывно, но что-то тянуло его к ней. Быть может, глаза? Они и в самом деле были с каким-то двойным дном, влекли к себе, засасывали.

А ей уж было мало мужика. Ей хотелось поиграть с ним, как с бритвой. Есенин говорил о таких: «И не хочешь пойти, да пойдешь». И он таскался за ней. Бродили по набережной, говорили. Он фотографировал ее обнаженной возле ржавых сухогрузов на отдаленной верфи. Она стояла на носу заброшенной баржи, раскинув руки, как птица.

— Я похожа на чайку?

Иногда дня по три они не выходили из ее уставленного всюду ароматическими свечами дома. Она билась в его объятьях, и впрямь как зажатая в ладони птица. И с присущей ей эпатажностью называла это днями постельной поэзии.

Изможденная, со взмокшими кольцами волос на бледной шее, она отползала от него в угол тахты и, свернувшись кошкой, засыпала. Едва отдышавшись, он будил ее поцелуями, и мучил снова и снова.

Как-то Фролов уехал в Вологду. Вернулся вечером, когда полыхал в окнах закат. Прямо с такси позвонил ей.

— Три дня назад, – сказала она, как ни в чем не бывало, – зашел Бубнов с бутылкой Крымского муската. Мы танцевали. Я и сама не знаю, как так вышло. Но я летала.

Осень будет звенеть о стекло. Всю ночь он будет писать ей письма. Писать и смахивать бумагу на пол. Писать и смахивать.

А потом за бутылку в парашютном клубе уговорит летчика АН-2. Самолет оторвется от земли и через мгновенье за ним протянется шлейф из ночных писем. Ветер разметает их по городу. А чуть раньше прозвенит в театре третий звонок. Она выскочит на тускло освещенную сцену и вскрикнет:

— Почему люди не летают, как птицы?

Чувствительная механика

Слесарь локомотивного депо Лоста Вологодского отделения Северной железной дороги Сергей Алферьев сидит за обширным столом, уставленным пластиковыми баночками с надписями «пружины», «приставной ход», «баланс». Он вертит в огромных руках жестяной коробок вечно тикающего скоростемера. Со стороны кажется – разбирает мину замедленного действия. От напряжения ладони периодически потеют, и влага устремляется по желобкам линий судьбы и жизни. Он берет ветошь и комкает ее. Свет настольной лампы отбрасывает на стену тень человека мучающегося над любовным письмом. Так проходит минута, другая, третья.

— Сначала думал, не мое это, произносит он мне, сидящему напротив. – Потом – привык.

Слесарь Алферьев как человек, занимающийся физическим трудом, немногословен. Любой поворот судьбы, деталь, сыгравшую ощутимую роль в его жизни, объясняет степенно и без патетики. «Привык» в этих объяснениях управляющее, ключевое слово.

— Отчество у вас какое необычное, – говорю я. – Как же звали вашего батюшку?

— Лемпадес, – вскидывает он на меня поверх очков большие совиные глаза. И снова утыкается в механизм.

— Из староверов будете?

— А я не знаю, – говорит он не сразу, чуть помедлив. Улыбка трогает уголки его губ. – А вообще предки были товарищи юморные. Может, так, дурачились просто.

Часы тикают, время бежит сквозь пальцы.

— Заедать будет, – молвит он сам себе. Достает из ящика круглый напильник и увеличивает в заготовке брешь. Крупинки железа липнут к пальцам.

— Хорошо меня каким-нибудь Евлампием не назвали, – улыбка его становится шире.

— Мы на Урале жили. Отец шахтером работал. А потом, когда мне было года четыре, родители решили перебраться поближе к родственникам, в село, в вологодскую область, на Русский, так сказать, Север. В соседней деревне поэт Рубцов родился. Он часто приезжал туда с вечным своим чемоданчиком. И вот он железные дороги любил, да? А от нас она была далеко, и я тогда и не думал, что свяжу свою жизнь с ней.

— А кем же вы хотели быть?

— Кем, кем, моряком. У меня же все дядьки по Белому морю ходили. Наедут в гости, все в форме, солнце в погонах играет. А как начнут вечером за рюмкой рассказывать о приключениях, сердце замирает. Лежишь на печке, каждое слово, как пирог с начинкой. «Дизель», «рында», «шуга». Вкусные такие слова, с запахом ветра и стыни.

Сергей Лемпадесович закончил обточку. Болт плотно входил в отверстие.

— И как же?

— Что?

— Как же вы угодили на железную дорогу?

— А-а. Так мы с ребятами поехали в Архангельск, учиться в мореходке. Доехали до Вологды, решили побродить по городу, пива попить, на девушек полюбоваться. И вдруг на пути попался техникум железнодорожный. Зашли, веселые, куражные. Ребята говорят, давайте ради хохмы документы сдадим. Сдали. А нас раз и зачислили.

— А на какую специальность-то?

Алферьев ловко поддел из пластиковой баночки чувствительную пружинку, которую разглядеть можно было с трудом, тоньше она была волоска человеческого.

— На машиниста, конечно, – ответил с недоумением, как будто я задал нетактичный вопрос. Он снова отер ладони ветошью. И тень его тоже.

— Золотые были времена. Особенно, когда практику проходили помощниками. Машинисты были просто глыбы. Я вот попал к человеку по прозвищу Батя. Мужик войну прошел, лиха выше горла хлебнул, а с такой невероятной радостью к жизни относился. Почему так бывает, ты не знаешь? Для него вообще не было как будто ничего невозможного. Как, помнишь, у Чехова, жил так, будто ничто и никогда не закончится. Едем с ним в поездку, а с нами в кабине (тогда разрешалось) женщина-врач. Сидит тихонько, в окно смотрит. Батя достает из-за пазухи толстый численник, вручает ей, говорит: «Чего так-то ехать. Давайте петь». А раньше численники такие были, в них много песен печатали. И вот она сначала робко, потом смелее и смелее тянет «Клен ты мой опавший. Клен заледенелый…» И Батя зычно, как прямо сводный хор МВД, подхватывает. У меня сердце скукоживалось, мурашки по спине бежали. Столько всего слышалось в его голосе. Он ведь тьму этих песен, стихов разных знал. Я поражался, как это в его голове такое количество умещалось. А потом я в армию ушел.

Сергей Лемпадесович, затаив дыхание, укрепляет в скоростемере пружинку.

— В Прибалтике служил, – говорит, выдохнув. – В железнодорожных войсках. Командовал отделением шоферов. Мы там, под Таллином, меняли узкую колею на широкую. Грузы возили, земполотно укрепляли. Такие щуплые все худые. Прапорщик один называл нас гроза НАТО.

Он усмехнулся.

— Тоже вот вроде бы поездки, дорога, но шоферство меня не увлекало. Отслужив, вернулся в Вологду.

Он пощелкал чем-то в скоростемере, сложив губы, дунул внутрь. Потом капнул из шприца часовым маслом.

— Маленькую сюда, – сказал будто младенцу, – побольше – туда.

— И что дальше?

— Дальше? Решил снова все начать. Спустя время, права машиниста получил. И почалил. Плечи были длинные. От Вологды до Череповца, Няндомы. Прицепишь пассажирский, и едешь, едешь. Снег, снег и елки. А за тобой, в вагонах, люди каждый со своим в сердце. Каждый с похожей и непохожей судьбой. Разговаривают, смотрят в окно, чай пьют… Ну, вот. Переработки столько было – чума просто. Приехал домой ночью, посчитал своих по головам, вроде все на месте. А в пять утра опять в рейс.

— Что называется, полжизни на колесах?

— Да какое пол… почти вся, – махнул рукой простецки. – Приходилось, можно сказать, пахать. Ничего романтичного, завидного в этом не было. Привык просто. И не отпускало.

— Почему?

— А бог ее знает. Железная дорога ведь она, что твоя женщина. Это только по молодости можно хорохориться. И на вопрос «ты меня любишь?» существует два ответа. Либо «да», либо «нет». Потом все, как в паутине, переплетается, и прилипаешь, как муха. Лапкой увяз, другой. Воспоминания о светлом прошлом, совместное преодоление чего-то, боязнь перемен. Все по Пушкину, где привычка замена счастью. И уже трудно распознать, что конкретно тебя удерживает, где любовь, а где – просто так вот, – изобразил он пальцами в воздухе что-то неопределенное, личное. И в словах его, как в голосе того машиниста, столько всего было намешано. «Клен ты мой, опавший. Клен заледенелый».

— Таким макаром двадцать семь лет отъездил, – говорит Алферьев. – А потом списали, – он улыбается совсем не горько даже. – Я думал не моя профессия эти скоростемеры чинить. Но вот уже девять лет этим

занимаюсь и ничего, привык. Нас двое привыкло. Я и напарник мой. Когда ездишь в кабине тепловоза, электровоза, не задумываешься, как там внутри все устроено. Один привод видишь и три стрелки. Минутную, часовую и электромагнитную, фиксирующую скорость. А внутри что не задумываешься.

— А что внутри?

— Железо, но чувствительное как кардиограмма к сердцу. Анкерная вилка, баланс, импульсное колесо, приставной ход. Механика, одним словом. Собираешь, проверяешь на точность хода и все дела. Главное, чтоб пальцы не дрожали, сказал он, пломбируя собранный механизм.

— Работа как работа. Никаких чудес. Говорят вредные испарения идут. Молоко даже дают за вредность. Но я его терпеть не могу. Я рыбу люблю.

— Ловить или есть?

— И то и другое. Домик у меня в деревне, как свободная минута – езжу туда. Лодка, река Толшма, рубцовские места. Закинешь удочку – душа оттаивает. Вчера вот такого хариуса взял. Отличный такой хариус.

— А на что?

— Жена мне целый день оводов ловила. И в спичечный коробок складывала. Самая хорошая наживка для хариуса.

— Что же, и она с вами рыбачит?

— У нее терпения не хватает.

— Странно это слышать о супруге машиниста с почти тридцатилетним стажем.

Он повел своим огромным плечом, задумался.

— А кабина машиниста не снится вам? – интересуюсь я.

— Отоснилась, – сказал он сурово, как будто в кулак поймал назойливую муху на лету. Сжал ее и выкинул, неживую. Затем встал из-за стола, укрепил собранный, починенный железный коробок с тикающими часами к стенду. Щелкнул выключатель, и ход часов усилился. Одна из стрелок показывала предельно допустимую скорость, иногда Алферьев сбрасывал ее, но тут же набирал снова и шум усиливался. Часы стучали, Сергей Лемпадесович в этот момент мысленно, наверное, куда-то по – прежнему ехал. «Клен ты мой, опавший. Клен заледенелый»…

Яблоки собирать

— Ты приедешь сюда в октябре? Со мной. Яблоки собирать.

Вечером она говорит это у костра, кутаясь в мой свитер. Рукава пустые висят.

Август. Небо звездное. И если поднять голову можно задохнуться, упасть.

— Да, – просто говоришь ты, щелкая в ладонях пластиковым стаканчиком. На донышке капля вина.

Сыро. И сад, как ночная река светится – неизвестно, где берег другой.

Пустыми рукавами моего свитера она обнимает свою шею. И вдруг произносит:

— Поцелуй меня.

Выходит неловко, несуразно, наивно. Как в первый раз. А он и есть первый. Каждый раз с ней.

У черных, будто увеличенных темнотой елей, светит желтым окно. Спит ее сын.

В хрущевском доме далеко-далеко, где от телевизора синее марево, спит, наверное, и моя дочь.

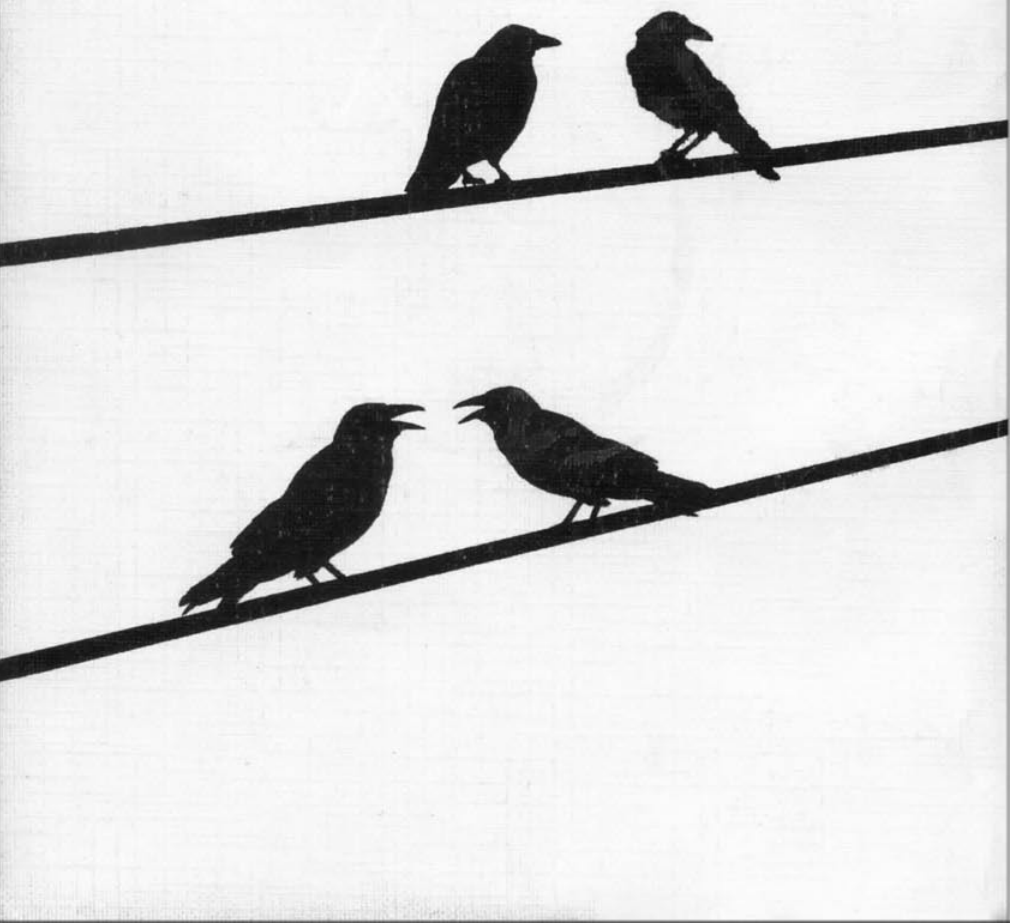
Мы стоим, обнявшись. Мы знакомы три дня. Или так кажется мне? Впереди будет много хлопаний дверями, бросаний телефонных трубок, поцелуев на ветру. Будет, будет, будет.

Под утро в натопленном доме она засыпает. Я осторожно вытаскиваю руку из-под ее головы. И долго смотрю, как на шее, бьется тонкая бледная жилка: будет – не будет, будет – не будет.

Потом на волглом от тумана крыльце прикуриваю от сигареты сигарету.

Крик электрички по мокрой траве близок и отчетлив.

С ветки, щелкнув, падает... и катится, катится первое сладкое яблоко.

Оглавление

Life is love 4
Аня, вернись 19
Баба Таня и хоккей 29
Беседы с волками 33
Большое сердце вечной мерзлоты 37
В октябре... 45
Вечер у Эммы 49
Волчьи мотивы 55
Волшебник плюшевого города 65
Гномы деда Михайло 71
Давай, Джон! 79
Дом старого немца 87
Дядя Леша Андеграунд 91
Зеленчукский авиатор 101
Картежник и поэт 108
Кит свежий, морской 111
Китайская элегия 121
Командировка в русскую деревню 125
Конь по кличке Сталин 131
Королева станции Арзамас-1 135
Кошки говорят об этом так 141
Край Земли 143
Ленин и Америка 149
Магия Коэльо 153
Матрешкин блюз 163
О крысах и о чем-то там еще 171
Огнедышащие люди 173
Осень в Мещере 179
Остров белых ворон 185
Последний праздник 189
Про старую старуху 195
Рейтинг благоговения перед жизнью 201
Снеговик в вагоне 207
У края одной звезды 215
Фото-граф 223
Чайка 243 227
Чувствительная механика 229
Яблоки собирать 233